



Эрик
ЛЮНДКВИСТ

ЛЮДИ
В
ДЖУНГЛЯХ



Annotation

Книга Люндквиста «Люди в джунглях» посвящена одному из ранних периодов (1934–1939 гг.) пребывания автора на самом большом, но малонаселенном острове Индонезии — Борнео.

- [Эрик Люндквист](#)
 - [Предисловие](#)
 - [От автора](#)
 - [Борьба начинается](#)
 - [Борьба продолжается](#)
 - [Боевые товарищи Асао](#)
 - [Джарджа](#)
 - [Сари](#)
 - [Ибаны](#)
 - [Убийца](#)
 - [Колдунья](#)
 - [Первые китайцы](#)
 - [Только кули](#)
 - [В Сингапур за китайцами](#)
 - [Одержимость и суеверие](#)
 - [Кровожадный дикарь](#)
 - [Люди сердца](#)
 - [Охота](#)
 - [Амок](#)
 - [Про игрока, девушку легкого поведения и скомороха](#)
 - [Средство от несчастной любви](#)
 - [Редкостная добыча](#)
 -
 -
 -
- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
-

Эрик Люндквист
Люди в джунглях

Предисловие

Советский читатель уже знаком с известным шведским писателем Эриком Люндквистом по его очеркам о природе и людях Западного Ириана и других островов^[1]. Автор прожил в Индонезии около 30 лет, работая сначала в качестве служащего голландской лесодобывающей компании, а затем, после достижения Индонезией независимости, — в качестве преподавателя. Четырнадцать книг о жизни различных племен и народностей Индонезии — таков итог его плодотворной деятельности с тех пор, как в начале тридцатых годов он впервые ступил на землю этой прекрасной страны.

Книга Люндквиста «Люди в джунглях» посвящена одному из ранних периодов (1934–1939 гг.) пребывания автора на самом большом, но малонаселенном острове Индонезии — Борнео. Остров этот был назван так европейцами. Теперь ему вернули его индонезийское название — Калимантан. Но так как в книге речь идет о периоде колониального господства на этом острове, то в ней правомерно будет сохранить его старое название.

До самого последнего времени остров Борнео был одним из малоисследованных, «загадочных» островов мира, на которые европейцев привлекали прежде всего особенности природы, обычаев и быта их населения. Именно об этом повествует в своих книгах Э. Люндквист. Но его рассказы резко отличаются от произведений большинства европейских авторов, увлекающихся «сенсационной экзотикой», стремящихся поразить читателя. Для Э. Люндквиста главное — это люди. Искренняя симпатия к простым людям Индонезии красной нитью проходит через все его произведения.

Будучи человеком большой души (или, пользуясь терминологией автора, — «человеком сердца»), он сумел подобрать ключи к сердцу каждого индонезийца, с которым ему приходилось жить и работать. И сердца эти открылись ему и говорили очень многое. Они сказали ему, в частности, что перед ним не «дикие туземцы», с которыми можно говорить только «языком пулеметов», а обыкновенные люди со своими радостями и горестями, заботами и досугом. И такими он сумел донести этих людей до нас.

В книге «Люди в джунглях» читатель найдет и яркое описание природы Борнео, его растительности и животного мира. Но уже само название книги говорит о намерении автора рассказывать прежде всего о людях. И действительно, перед нами проходит вереница различных образов. Читатель запомнит находчивого и талантливого, бескорыстного и отзывчивого хаджи Унуса; «девушку легкого поведения» Айшу, которая, оказавшись вынужденной торговать своим телом, сумела сохранить душевную чистоту и непоколебимую волю; одаренного «скомороха» Рахмана, моториста Асао и многих других.

Не без интереса прочтет эту книгу и специалист-этнограф. Обладая острой наблюдательностью, Э. Лундквист очень тонко подметил специфические этнические черты представителей различных племен и народностей Индонезии. Читатель познакомится с отчаянно храбрыми, деловитыми и смекалистыми ибанами, буйными и вспыльчивыми бугами, мягкими и добродушными яванцами, словом — с самыми разнообразными представителями населения бывшего Борнео.

* * *

Э. Лундквист — не сторонний наблюдатель описываемых им событий. Он сам активно участвовал в них, играя немаловажную роль в системе империалистической эксплуатации, складывавшейся в результате вторжения иностранного капитала в первобытнообщинный строй бывшего Борнео. Поэтому для читателя представляет несомненный интерес эволюция социальных и политических взглядов автора, совершившаяся под влиянием непосредственного контакта с тем, что обычно принято обозначать собирательным словом «колониализм».

«Люди в джунглях» — искренний монолог эмоционального человека, который в своей откровенности не щадит себя. Попробуем судить о нем и его книге, исходя из этого.

В предисловии к русскому изданию автор сам говорит о конечных результатах этой эволюции, о том, в частности, что все его прежние представления были опрокинуты, что он «научился совсем иначе смотреть на жизнь». Когда Э. Лундквист впервые ступил на землю Индонезии, он еще думал, что «колонии нужны и оправданны», что «белые и впрямь выше „цветных“ народов». Но постепенно он проникся убеждением, что для народов бывших колоний и полуколоний «коммунизм — единственный путь к лучшей жизни». Таковы главные, важнейшие итоги эволюции взглядов автора. Однако в хронологических рамках данной книги эволюция взглядов автора еще не завершается полностью и он (вполне справедливо) но забегают вперед и излагает их, так сказать, в первоначальном виде. В то же время как в самой книге, так и в предисловии в суждениях автора проскальзывает некоторая противоречивость.

Молодой Э. Лундквист приезжает в Индонезию полный самых искренних и лучших побуждений. Он

хочет покорить джунгли, создать город там, где раньше не ступала нога человека. Он всецело отдается этому делу. «Сперва, конечно, было интересно, — пишет он. — Разве не увлекательно — вступить в схватку с джунглями!» (стр. 198). Пошли недели и месяцы упорной работы, джунгли начинали понемногу сдаваться, однако молодой энтузиаст стал обнаруживать, к своему удивлению, что это не приносит ему удовлетворения. Он все чаще и чаще задумывается над смыслом этого изнурительного труда, задается вопросом, ради чего он и тысячи индонезийцев все свои силы отдают покорению джунглей, страдают от малярии, рискуют жизнью.

Эти размышления неизбежно приводят автора к выводу, что не благородные побуждения, а «жажда наживы, обуревающая голландских капиталистов», и «чистоган» являются для них главными движущими мотивами; что трудятся они в интересах «нескольких господ» в Амстердаме, которые «озабочены том, как выручить побольше прибыли со своих капиталов» (стр. 45). Э. Люндквист осознает, что он стал «рабом предприятия»: «Я стал рабом пяти тысяч кубометров леса в месяц. А воображаю иногда, будто покорил джунгли!» (стр. 198).

Сознание своей порабощенности капиталом лишает труд того духовного содержания, которое Люндквист надеялся в нем найти, приехав на Борнео. В душе его растет чувство неудовлетворенности и раздвоенности, ибо он видит, что его субъективно благородные и добрые намерения объективно оборачиваются для местного населения порабощением и подчинением иностранному капиталу. С горькой иронией рассказывает Люндквист о тех низменных методах и приемах, при помощи которых осуществлялось это порабощение (стр. 29, 40, 47). В ход идет все: специально организуемые притоны для азартных игр,

женщины легкого поведения, опиум. Колонизаторы не останавливались ни перед чем, чтобы удержать рабочих в подчинении компании, используя их слабости и неведение. Эти страницы книги содержат наиболее яркое разоблачение мнимой «цивилизаторской миссии» империализма в колониях.

Тесное общение с простым трудовым народом Индонезии приводит Э. Люндквиста к тому, что он восстает против «неумного и близорукого в своей основе воззрения», отрицающего равноценность цветных и белых людей (стр. 142). Автор убедительно и страстно доказывает, что подлинно человеческие чувства и черты, такие, как доброта, честность, смелость, смекалка и т. п. — достояние не только «цивилизованных стран» Запада и «белых» людей, а равно присущи и народам Индонезии, на какой бы стадии развития они ни находились.

Следует отметить, что именно в этом вопросе проявилась также и непрочность материалистических воззрений автора. Так, он пишет: «Расовые предрассудки — одна из наиболее отвратительных цепей, которыми *глупость* сковала человечество» (стр. 142, подчеркнуто мною. — *Н. С.*).

Здесь мы видим элементы утопических воззрений Оуэна, который основную причину общественного зла видел в невежестве («глупости») людей, а не в материальных условиях их жизни. Игнорирование Люндквистом материальных условий как основы, на которой вырастают, в частности, идеологические воззрения и формируются психологические особенности людей, приводит к весьма парадоксальному факту: доказывая, с одной стороны, что все люди «сделаны из одного теста» и горячо ратуя за их равноправие, автор, с другой стороны, возводит между ними национальные и географические перегородки. Он пишет, например: «Из-за того, что индонезийцы — люди сердца, а мы,

жители Запада, — люди рассудка, нам часто трудно понимать друг друга. За нашими поступками стоят разные побуждения» (стр. 143–144). Противопоставив «сердце» «разуму», автор продолжает: «Индонезийцам чужд наш холодный расчет, погоня за материальными благами, беззастенчивое попираение друг друга, борьба из-за куска хлеба, из-за славы, распри из-за пустых фраз. Они не могут понять нашу эгоистическую, волчью натуру, так же как нас удивляет способность восточного человека все бросить, всем пожертвовать ради прихоти, ради внезапного порыва» (стр. 144). В результате такого хода рассуждений автор приходит к выводу, что «Восток останется Востоком, Запад — Западом. Пока мы не обретем свое сердце. Или пока восточный человек не превратится в рассудительного умника, — *дай бог, чтобы этого никогда не случилось, иначе кто научит нас жить?* Нас, рабов западного общества с его господством машин?» (там же, подчеркнуто мною. — Н. С.).

Разумеется, мы не собираемся игнорировать существование этнических и национальных особенностей у отдельных народов, различие их обычаев и т. п. Но безусловно необходимо выделять те признаки и черты, которые не являются специфическими для данного народа, а встречаются у самых различных народов, когда они достигнут определенной степени общественного развития. Индонезийцам непонятен «наш» (т. е. капиталистический) холодный расчет и «наша» (опять же свойственная капитализму) борьба из-за куска хлеба не потому, что индонезийцы добрые, сердечные люди, а потому, что они находились в то время на докапиталистической или, в лучшем случае, раннекапиталистической стадии развития и только еще втягивались империализмом в капиталистическое развитие. Капитализм не успел «дисциплинировать» (с

помощью голода и нужды) индонезийцев, отсюда и те «прихоти» и «порывы», о которых пишет автор.

Рассуждая о сердечности людей Востока и черствости людей Запада, автор переносит черты типичных представителей определенного класса на людей вообще, на нацию или расу в целом. Однако примечательно, что даже некоторые приводимые им самим факты опровергают его теорию. Можно сослаться, например, на выведенный в книге образ объездчика Джаина. Джаин — минангкабау. Это одна из народностей Индонезии, у которых капиталистические товарные отношения получили сравнительно большое развитие к тому времени, о котором повествуется в книге. Знакомство с капиталистическими отношениями весьма явственно сказывается на характере Джаина: он более чем «рассудителен», черств, постоянно озабочен мыслями о куске хлеба и с презрением относится к своим «беззаботным» собратьям других народностей. Именно он подает автору советы относительно того, как удержать в лагере лесорубов. «Сделаем так, чтобы они могли проигрывать свои деньги, — уговаривал он, — тогда они останутся и будут работать, сколько угодно» (стр. 29). В другом случае он рекомендует «привязать» китайцев-лесорубов «самой надежной и прочной цепью: опиумом» (стр. 31). Нетрудно понять, что «холодная рассудительность» и «черствость» не являются специфическим признаком какой-либо одной нации или расы.

С другой стороны, автор приводит образы европейцев — «людей сердца», в частности Рольфа Бломберга. Правда, Лундквист тут же оговаривается, что эти люди, у которых «сердце довлеет над разумом», составляют «исключение». И они — действительно исключение, но не среди европейцев вообще, а среди тех европейцев, которые представляют в Индонезии иностранный капитал и его компании. В этом смысле и

сам автор — исключение, так же как исключением были Альберт Швейцер, его супруга и их коллеги, отправившиеся в далекую колониальную страну в Африке и основавшие свою знаменитую больницу для местного населения в Ламбарене.

Симпатии к местному населению и переживания, связанные с неминуемым закабалением его иностранным капиталом, невольно переходит у Лундквиста в некоторую идеализацию первобытнообщинных отношений, в некий «романтизм джунглей». «Счастье в том, — пишет автор, — чтобы жить по законам джунглей. Охотиться до изнеможения, наедаться досыта, дружить с цветами и животными. Засыпать без мыслей и забот...

Философия джунглей необременительна» (стр. 141).

Этот мотив проскальзывает и в предисловии автора к настоящему изданию, где утверждается, что «жизнь малайцев в их хижинах куда более насыщена и интересна, чем жизнь белых в их каменных домах» (стр. 14).

Но почему же Лундквист считает индонезийцев «более счастливыми» людьми? Потому что они свободны, — отвечает автор: «...Они по-настоящему свободные люди. Не такие, как мы в Швеции, привыкшие петь о нашей вековой свободе... Разве может быть свободной личность в цивилизованном обществе?» (стр. 27).

Отметим пока только, что автор в данном случае полностью абстрагируется от такого немаловажного реального факта, что «свободные» индонезийцы находились в описываемый период в колониальном подчинении у «цивилизованного общества», и посмотрим, в чем заключается эта «свобода».

Вот, например, характерное заключение Лундквиста, знавшего, что лесорубы проигрывают в кости и карты заработанные тяжким трудом деньги.

«Разве я могу помешать им — они же свободные люди!» — восклицает он (стр. 26). Итак, у лесорубов есть «свобода» проигрывать свои трудовые деньги. Но автор упускает из виду, что для того, чтобы проигрывать, нужно предварительно закабалиться и потрудиться на компанию. Иначе ведь не будет возможности пользоваться этой «свободой»!

А вот другое высказывание автора о характере и содержании его понятия «свободы»: «Абак спит, ест, охотится, — короче, делает, что ему вздумается, пока *созреет то, что он посадил*» (стр. 27). Мы подчеркнули эти слова, ибо в них как раз и заключено признание *ограниченности* свободы любого индивида в любом обществе. Действительно, для того чтобы делать «что ему вздумается», человек должен иметь материальную базу (в данном случае — посадить и собрать урожай). Его «свобода», следовательно, ограничена необходимостью добыть трудом материальные условия для безбедного существования. В этом все личности, членами какого бы общества они ни были, одинаково несвободны. Пролетарий и служащий в капиталистическом обществе так же «свободен» не трудиться и умирать с голоду, как и член первобытнообщинного общества.

Есть, правда, и существенное различие между «свободой» европейского трудящегося и «свободой» даяка на острове Борнео. Это различие подмечает и автор книги. Он пишет: «Если ему (даяку. — *Н. С.*) понадобится материал для одежды, он соберет в джунглях ротанг и выменяет на пего материал у купца-китайца. Не захочется собирать ротанг, он обойдется одеждой из луба или будет ходить голый» (там же).

Да, действительно, даяк может быть свободен от эксплуатации торговцем-скупщиком, но лишь постольку, поскольку ограничены (уровнем общественного развития) его потребности. Пролетарии

же и трудящиеся развитых капиталистических стран могут «освободить» себя от эксплуатации только в том случае, если они ограничивают свои существующие, более разносторонние потребности. Дело поэтому не просто в «пристрастии к работе» у «белого человека» (стр. 28), а в наличии у него более разносторонних и многообразных потребностей. И мы видим из самой книги Э. Лундквиста, как по мере роста потребностей даяков-лесорубов уменьшается их «свобода». После того как они впервые увидели европейский фильм, им снова и снова хотелось смотреть фильмы. Хождение в кино становится, таким образом, их потребностью. По удовлетворению этой потребности неизбежно требует денег, и даяк для осуществления своих желаний жертвует свободой.

В мировой литературе нередко можно встретиться с идеализацией более отсталого общественного строя. Явление это — продукт определенной эпохи в развитии общества, той переходной эпохи, когда капитализм варварски (иначе он не умеет) разрушает все докапиталистические уклады и утверждает свое господство. В европейских странах, например, подобный период характеризовался возникновением «экономического романтизма», отличительной чертой которого была сентиментальная критика капитализма. Что касается «первобытного романтизма», столь характерного для книги Э. Лундквиста «Люди в джунглях», то здесь следует отметить две специфические черты. Романтизм этот отражает процесс разрушения капитализмом не феодальных, а первобытнообщинных отношений среди народностей бывшего Борнео. Выразителем этих «романтических» настроений выступает не местный житель, а европеец, ибо незрелость общественных отношений исключала возможность появления местного литературного течения — «романтизма».

Описанные выше настроения возникли у Э. Лундквиста не случайно. Он находился на Борнео в тридцатых годах, т. е. именно в то время, когда началось интенсивное вторжение империализма в этот район Индонезии. Колонизаторы твердили, конечно, что они несут прогресс жителям Борнео. Но, как справедливо отмечал К. Маркс в связи с порабощением Индии Англией, империализм в этой своей «цивилизаторской миссии» подобен тому «отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых»^[2].

Уже простое сопоставление этого «отвратительного языческого идола» и неискушенных, доверчивых, добрых и смелых жителей острова Борнео привело к крушению прежних воззрений автора, сформировавшихся у него под влиянием буржуазного воспитания. Будучи по натуре человеком отзывчивым, но не имея твердых научно-теоретических основ, Лундквист стал искать выход в идеализации того, что уже было обречено самим ходом общественного развития. Именно этот период поисков и сомнений Лундквиста отражен в его книге «Люди в джунглях». Надо иметь в виду, что на формирование мировоззрения автора в те годы огромное косвенное влияние оказывали место, условия и характер его работы. Хотя он сам и считает для себя удачей то, что он работал не на плантации или в конторе компании (стр. 15), тем не менее вследствие многолетней жизни в джунглях Борнео он оказался в стороне от мощного революционно-демократического движения, которое охватывало в те годы наиболее развитые районы Индонезии и в котором участвовали также десятки местных голландских рабочих и служащих.

В более поздних произведениях (например, в книге «Дикари живут на Западе») отмеченная выше

идеализация уже заметно ослабевает. И, как явствует из предисловия Люндквиста к настоящему изданию, автор приходит в конце концов к выводу, что коммунизм — единственный путь к лучшей жизни для народов Индонезии.

В заключение хотелось бы отметить, что противоречивость рассуждений автора о «счастье» и «свободе» жителей Борнео наиболее отчетливо проявляется при сопоставлении с фактами его собственной биографии. На протяжении всей книги мы следим за терзаниями автора относительно окончательного выбора образа жизни: продолжать ли жить прежней жизнью, или выбрать «свободу» и «отуземиться»? Однако читателя не должны вводить в заблуждение заключительные страницы книги и слова автора о его решении оставить службу в компании, зажить туземцем и поохать с Сари на Яву (стр. 199). Да, автор действительно женился на индонезийке Сари, которая стала его верной и преданной подругой жизни, спутницей во всех его многочисленных странствиях по островам Индонезии. Тем самым Э. Люндквист преодолел в себе худшие традиции капиталистической Европы, заключающиеся в расовых предрассудках. По автор не «осел на Яве», чтобы «выращивать рис», не «отуземился», а, наоборот, увлек за собой Сари, увлек ее к более полной, разносторонней и духовно насыщенной жизни.

Н. Симония

От автора (предисловие к русскому изданию)

В Швеции меня называют исследователем и писателем-путешественником. Это неверно. Я никогда не совершал экспедиций и не путешествовал в собственном смысле этого слова. Просто мне довелось работать в далекой Индонезии, и четырнадцать книг, которые я написал, рассказывают о моем пребывании в этой стране, о людях, которых я там встречал, их жизни и взглядах.

Работа в тропических колониях с угнетенным населением опрокинула все мои прежние представления. Я научился совсем иначе смотреть на жизнь, у меня открылись глаза на пороки системы, которой я служил. А затем мне довелось с радостью увидеть, как бывшая колония стала свободной страной, как угнетенные сбросили цепи. Несколько лет я преподавал в новой Индонезии, узнал ее молодежь. Пожалуй, это были самые счастливые годы моей жизни.

Я вырос в сугубо буржуазной среде, которая социализма не признавала. То же можно сказать о моих товарищах по институту. Все мы страдали политической слепотой, политикой не интересовались, никогда не задумывались о социальных несправедливостях. Считали, что все так и должно быть — классовые границы, угнетение женщины. Единственное, против чего я восставал, была религия. С двенадцати лет я перестал верить в бога и в черта. Это оказалось очень кстати, когда я попал в Индонезию и узнал народ этой страны, народ, которым голландцы (по их словам) правили по велению самого бога...

В 1930 году, поступая на службу к голландцам и отправляясь в Индонезию лесничим, я еще думал, что колонии нужны и оправданны. Конечно, голландцы всячески старались укрепить во мне это убеждение. Я верил, что белые и впрямь выше «цветных» народов, а потому мы вправе обращаться с «цветными», как с низшими существами. Мой первый начальник в Индонезии всегда твердил, что «коричневые понимают только язык пулеметов».

По роду работы мне приходилось жить в деревнях и лесах одному среди «цветных». И тут-то я очень скоро раскусил, чего стоят слова «народа господ» об их превосходстве.

К своему удивлению, я увидел, что на острове Бангка — первом, на который я попал, — жизнь малайцев в их хижинах куда более насыщена и интересна, чем жизнь белых в их каменных домах, что гораздо лучше просидеть ночь в деревне, разговаривая с местными жителями, чем глушить виски в голландском клубе. С первых дней я влюбился в народ Индонезии, особенно в девушек. Уже тогда надо мной посмеивались: он забывает, что он белый, заболел «коричневой лихорадкой»...

Чем дальше, тем чаще приходилось мне быть единственным белым среди «туземцев». Меня послали в дебри Борнео исследовать леса, потом поручили наладить лесоразработки на побережье. Среди тамошних людей я никогда не был одиноким. Напротив, жизнь моя была полнее, чем когда-либо. Особенно хорошо я себя чувствовал, когда я и мои новые друзья забывали, что я «белый человек».

И тут кое-кто из голландцев стал называть меня «красным» — за то, в частности, что я хотел платить рабочим по труду, не считаясь с цветом их кожи. Поначалу я не обращал внимания на этот ярлык. Не

принимал его всерьез. Я все еще считал себя, так сказать, добрым буржуа и совсем не думал о политике.

Не помню уж точно, когда именно я стал задумываться над тем, к какому политическому лагерю я принадлежу. Может быть, это было перед самой войной. И тут я, к своему удивлению, обнаружил, что по своим воззрениям я социалист.

В годы японской оккупации мне иногда выдавался случай читать и читал я преимущественно труды коммунистов. С той поры я проникся убеждением, что коммунизм — единственный путь к лучшей жизни для всех народов Юго-Восточной Азии.

В 1950 году голландцы отправили меня обратно в Европу, потому что я стал на сторону индонезийцев в их освободительной борьбе. Потом я вернулся, но теперь я уже был на службе у индонезийского государства.

Живя в колониальной стране, я понял, что нужно подчас очень сильное воздействие, чтобы человек пересмотрел политические воззрения, впитанные, можно сказать, с молоком матери, нужно, чтобы он на собственном опыте познал, что такое гнет, нужда, унижения, война.

Останься я в Швеции, никакая пропаганда не заставила бы меня отказаться от буржуазных взглядов и веры в преимущества капитализма. И если бы я не работал среди простых людей Индонезии, а попал, скажем, на плантацию или в контору в каком-нибудь городе, я наверно ничем не отличался бы от большинства голландцев в Индонезии. Но мне посчастливилось, моя работа помогла мне изменить свои воззрения по самым существенным вопросам.

Естественно, я считаю это куда более важным для себя, чем приключения, охоту и самые чудесные картины природы, какие я видел в тропической Индонезии. Поэтому названию «Очарован джунглями», которое дало моей книге издательство в Стокгольме, я

все-таки предпочитаю мое собственное — «Люди в джунглях».

Половина моей жизни прожита в Индонезии. Эта половина была бесспорно самой значительной.

В этой книге показаны картины из жизни лесорубов в тропиках, то, что автор сам пережил в 1934-1939 годах, когда он руководил лесоразработками на севере тогдашнего Голландского Борнео. Тут и работа, и приключения, и охота, и страсти, есть даже размышления.

Это были очень важные годы для автора: он встретил Сари, которая стала его спутницей жизни, он понял все проклятие колониализма, перестал верить, что достоинство человека определяется цветом его кожи, стал сомневаться в системе, где главная движущая сила — чистоган. Это сомнение оказалось настолько сильным, что он порвал с прежним образом жизни.

*Эрик Люндквист
Шевик, март 1965 года*

Борьба начинается

Новый звук раздастся в джунглях Нунокана^[3] сегодня, в декабре 1934 года.

Глухой стук, словно голос самой судьбы, пробивается сквозь лесной хор. Звонкий, пронзительный стрекот цикад, пересвист певчих птиц, крики обезьян, замогильный хохот птицы-носорога — ничто не может одолеть этого упрямого стука. Кажется, джунгли понимают его зловещий смысл. Они селятся заглушить его, поглотить в своей темной зеленой сырости.

Но все напрасно.

Это стук топора.

Стук топора, вгрызающегося в ствол гигантского дерева.

Тысячи лет джунгли жили по законам природы. Тысячи лет они сохраняли неизменный вид, в них разносились одни и те же звуки, царили все те же запахи, билась та же жизнь. Тысячи лет гигантские стволы подпирали огромные волнующие муссоном зеленые своды.

Теперь в джунгли вторгается новое. Глухой стук топора возвещает его приход. Извечное равновесие жизненного круговорота нарушено.

Топором орудует маленький Гонтор. Он метис, родился на болотистых берегах Борнео. Отец его был буг, мать — светлокожая даячка^[4].

Вместе с двадцатью другими жителями деревни Себакиль Гонтор последовал за мной на остров Нунокан, и его топор вонзился в ствол великана джунглей.

Гонтор кажется пигмеем рядом с мощной колонной, которую хочет сокрушить. Прямой, как свеча, толщиной

больше метра, шершавый красноватый ствол без единого сучка на сорок метров вздымается к зеленому своду. Вместе с широкой кроной высота дерева — семьдесят пять метров.

Сала — вот имя властелина здешних лесов. Деревья растут не гуще пяти-десяти на гектар. Лианы, ротанговые пальмы и другие ползучие растения сплетают их кроны в плотную крышу, сквозь которую едва пробивается таинственный темно-зеленый свет. Под этой крышей — деревья и пальмы поменьше, высотой не более пятнадцати-тридцати метров, и на редкость густой подлесок — молодые деревца, кусты, низкорослые пальмы всевозможных видов, кое-где — тенелюбивые травы. Все это тоже перевито лианами и ротангом и образует непроницаемые колючие заросли.

Даякским мечом Гонтор расчистил в чаще путь к тому самому дереву, которое рубит теперь. Он проложил себе также коридор, чтобы легче было убегать, когда сала начнет валиться. Из сучьев он соорудил помост высотой в два метра, иначе ему не добраться до ствола, огражденного внизу огромными крыловидными выступами.

Гонтор принялся за работу, когда первые лучи солнца осветили верхушки деревьев и гиббоны приветствовали новый день звонкими криками. Пот катится градом по его желтоватой коже, хотя на нем лишь одна набедренная повязка. Там, где взмахивает топором Гонтор, на самом дне зеленой пучины джунглей, температура никогда не опускается ниже тридцати четырех градусов. Уже много тысячелетий она почти неизменна. Насыщенный влагой воздух неподвижен. Где-то высоко, над кронами, поет свою песню могучий муссон, но здесь, в полумраке, не шелохнется ни один лист. Медленно опускается облачко цветочной пыльцы. На землю сыплются, словно снег, белые лепестки орхидей.

Но вот по дереву пробегает легкая дрожь. Хрустнула еще не перерубленная топором древесина. Это первое предвестие того, что должно произойти.

Гонтор подрубил дерево с двух сторон, и теперь от одной зарубки до другой осталось не больше ладони. Обезьяны заметили, как дрогнул ствол, и взволнованно кричат. Они чувствуют беду и в безотчетном страхе мечутся по веткам. Летящая белка, поселившаяся в дупле, высунула голову и испуганно моргает своими большими глазами ночного животного.

А попуган по-прежнему, оживленно болтая, поедает семена, и Гонтор продолжает энергично ударять топором на длинном, тонком пружинистом топорище, спеша добить великана.

Дерево прочно привязано лианами и ротангом к соседним кронам, и кажется, что свалить его невозможно. Даже если маленький Гонтор совсем перерубит ствол, исполин должен остаться на месте, так основательно он укреплен. И это случилось бы, будь наверху столь же тихо, как здесь, внизу, где работает Гонтор. Но наверху бушует властный муссон. Кроны послушно качаются в такт его грозной песне. Вот он заставил дерево пошатнуться. Громкий треск, лопнуло несколько волокон древесины, ствол дрожит. Гонтор выпрямляется и испытующе смотрит на крону. Но нот — лианы даже не натянулись. В колышавшемся зеленом своде не видно ни малейшего просвета.

Снова топор рассекает древесину.

Опять треск — и это уже не ложная тревога. Гонтор соскакивает с помоста на землю и сломя голову мчится по вырубленному им туннелеподобному коридору.

Несмотря на угрожающий треск, крона только чуть колышется. Но Гонтор видит, что она сдвинулась с места. Обезьяны вопят, как одержимые, по веткам и лианам перескакивают на другие деревья. Испуганные

попуган взлетают стаями и уносятся прочь на шуршащих крыльях.

Наконец, хрустнул последний слой древесины — и дерево начинает клониться к земле.

Однако его падение сразу же приостанавливается. Лианы и ротанги натянулись, как струны. Соседние деревья изогнулись дугой. Неужели удержат они великана?

Нет! Тонкие лианы рвутся. Даже для наиболее мощных — толщиной в руку — напряжение становится непосильным. Они с грохотом лопаются одна за другой или ломают деревья, за которые зацепились.

Ствол накренился уже под углом в семьдесят градусов, и уцелевшие лианы напрягаются до отказа под тяжестью семидесяти с лишним тонн.

Все ниже и ниже клонится дерево, слышен нарастающий гул, как от лавины. Последние лианы оборваны, последние обезьяны удрали.

Падение ускоряется, его не остановить, и ствол беспощадно сметает деревья и пальмы на своем пути. Словно огромные сказочные змеи, извиваются в воздухе обрывки лиан. Белка в ужасе прыгает с падающего сала и парит параллельно земле. Несколько малышей следуют за ней, неуклюже ныряя в гудящий зеленый океан.

И вот семьдесят тонн рушатся на землю. По лесу прокатывается гром, почва содрогается, как от землетрясения. Ствол и сучья глубоко уходят в подстилку. Кругом в почву вонзаются обломки.

Гул, достигший апогея, когда ствол упал, затихает, сменяясь шелестом выпрямляющихся деревьев и сыплющихся сверху веток. Некоторые деревья изогнулись, как луки. Когда рвутся лианы, они рывком поднимаются, и в джунгли летят ветки и огромные сучья. Далеко-далеко разносятся шум и треск, а в плотном своде зияет громадная дыра, через которую,

оттесняя задумчивый сумрак джунглей, врывается ослепительно яркий дневной свет.

Немного погодя Гонтор подходит посмотреть на дело своих рук. Только благодаря расторопности удалось ему увернуться от смертоносного обломка, который отлетел в сторону. Теперь он разглядывает зарывшийся в землю могучий ствол. Смотрит на истерзанную громадную крону, на раздавленные яркие орхидеи, которые жили на кроне в обществе бабочек и солнечных лучей. Он видит, как между сучьями, будто копье, проносится пятиметровый сетчатый питон, видит беспомощных птенцов, выброшенных из гнезд. Ему удастся поймать несколько молодых голубей — он возьмет их с собой в лагерь. Потом Гонтор вскакивает на ствол поверженного великана, набирает полные легкие воздуха и издает торжествующий клич — пусть товарищи знают, что он благополучно пережил вызванное им же самим стихийное бедствие, что духи джунглей все еще благоприятствуют ему. Затем он садится, скручивает сигарку из щепотки табака и пальмового листа, с помощью кремня, куска стали и трута добывает огонь и на несколько минут целиком отдается курению.

Однако до вечера далеко, и вскоре Гонтор начинает прорубать коридор к следующему дереву. И опять в джунглях раздается стук топора. Обезьяны не то притаились, не то ушли, видимо, поняли теперь, что означает этот звук.

Несколько часов у поваленного дерева все спокойно. Только пищат осиротевшие птенцы да время от времени слышен треск согнутой ветки или звук лопнувшего ротанга. Тонкая, как плеть, ярко-зеленая змея пробирается сквозь смятую крону, высматривая блестящими холодными глазами легкую добычу. Крохотный оленек, не больше кролика, осторожно выходит на своих ножках-карандашиках и принимается

объедать почки. И снова слух терзает пронзительный стрекот цикад, прерванный шумом упавшего дерева.

Вдруг карликовый олень исчезает в густых нетронутых зарослях. Умолкают птенцы, змея замирает, слившись с зелеными лианами. Через лес идут люди.

Два человека ступают по прорубленной Гонтором дорожке. Один из них черный, другой — оливковый.

Черного человека зовут Ахмат, он мавр из Замбоанги. Высокий и стройный, под темной кожей играют гибкие, сильные мышцы. Его черные глаза излучают спокойствие могучих океанских просторов, в голосе звучит мелодия волн. Он родился на море и вскормлен им — сын гордых морских разбойников-мавритан. Несколько лет назад его судно затонуло у берегов Нунукана. Товарищи вскоре уплыли на другом корабле, а Ахмат остался, замороженный молодой светлокожей даячкой с шальными глазами.

Оливковый человек — даяк-ибан, житель горных дебрей. Охотясь за носорогами, он спустился к самому побережью, и здесь я завербовал его в свою первую бригаду лесорубов на Нунукане. Маленькие подвижные глаза, плотное мускулистое тело, безбородое лицо, выражающее настороженное удивление. Если Ахмат — истинный сын моря, то этот человек, с быстрыми, нервными движениями, — такой же истинный сын джунглей. Белый человек неспроста поставил их на работу вместе: они говорят на разных языках и не понимают друг друга. Не к чему разговаривать, когда тебе надо с утра до вечера тянуть двухметровую шведскую пилу.

Каждый из них без лишних слов расчищает себе место у срубленного великана. Затем они отмеряют четыре метра и принимаются пилить. Работают медленно, равномерно. Глаза мавра мечтательно устремлены вверх к зеленому своду — оттуда доносится

что-то, напоминающее голос моря. Глаза даяка шныряют по зарослям, подсознательно выискивая дичь..

Вдруг даяк опускает пилу и исчезает в кустах. Ахмат спокойно сидит в ожидании, думая о своем. Через несколько минут даяк возвращается, держа в руках пойманного варана. И пила возобновляет свое состязание с цикадами, все глубже вонзаясь в гигантский ствол.

Порой словно какая-то тень омрачает отсутствующий взор Ахмата. Он думает о той, которая сидит дома в лагере, ожидая его. Ахмат не уверен в том, что заморожившая его женщина верна ему. Она не желает работать, не желает готовить пищу. Хочет, чтобы Ахмат один делал все за двоих и еще любил ее. Она же только спит, ест, играет в кости или тревожит других мужчин своими черными глазами и пышными формами. Ахмат боится, что она ему неверна. Если бы он знал это наверняка, он тотчас зарезал бы ее и того, с кем она изменяет ему.

К вечеру Ахмат и даяк успевают распилить свободную от сучьев часть ствола на восемь кряжей весом по три-четыре тонны каждый.

К тому времени по лесу прокатится гул падения еще двух гигантских стволов и от поверженных исполинов к реке протянутся дороги трехметровой ширины.

В растревоженных джунглях царит хаос. Из запутанной, смятой зелени торчат обломки деревьев и пальм. Бесчисленные цветы, украшавшие кроны, усеяли сырую лесную подстилку. Множество гнезд разорено, семьи белок, куниц, летающих кошек лишились приюта, слышатся визг, писк и вой. Но вот наступает ночь, и олени, дикобразы, дикие свиньи выходят полакомиться почками и плодами сваленных деревьев. Тут и карликовые напу, и рослые красавцы с ветвистыми рогами.

А те, кто произвел это опустошение, сидят на берегу реки под небольшими навесами из пальмовых листьев и варят себе пищу на кострах. Двадцать пять представителей типичной для побережья Борнео смешанной расы, завербованных мной в приморской деревушке, охотник-малаец и я — единственный белый на всем острове. Мы добрались до Нунукана на быстроходных пирогах, захватив с собой месячный запас продовольствия. Отсюда сто километров до ближайшего поселения — Таракана. У меня задание: заготовить в течение месяца триста кубометров древесины сала, чтобы по истечении указанного срока можно было отгрузить первую, пробную партию. Если эта партия окажется удачной, нам надо будет довести выработку по меньшей мере до пяти тысяч кубометров в месяц.

Я опасался, что не справлюсь с этим заданием. Рабочие, которых мне удалось набрать, никогда прежде не рубили лес. Однако к концу первого же дня я воспрянул духом. Маленький Гонтор повалил три дерева — семьдесят пять кубометров древесины. И один из стволов уже распилен. Все будет в порядке!

Отправляюсь на охоту, хочу порадовать свою бригаду олениной. В нескольких сотнях метров от лагеря вижу зеленый блеск двух огромных глаз. Выстрел — олень надает. Отныне джунглям и ночью не будет покоя.

С рассветом мы попытаемся переправить первый кряж к реке. Для этого построили специальную дорогу. Вымостили ее длинными, тонкими стволами. В них сделали зарубки, а в зарубках укрепили очищенные от коры и гладко отесанные поперечины. Затем из твердого, как кость, пальмового дерева сколотили нечто вроде салазок. Трехметровые полозья также тщательно отесаны. На этих салазках мы будем

перевозить кряжи. Но сначала нужно извлечь кряж из выбитой стволом выемки и закатить его на салазки.

Мы просовываем под кряж канаты из лиан, закрепляем их за пни и деревья и, продев палки в петли, натягиваем канаты. Они дрожат, как струны, кряж чуть-чуть сдвигается с места. Тогда вся бригада берется за ваги.

Звучат подбадривающие выкрики, мускулы напрягаются до отказа, и кряж подается, дюйм за дюймом вылезает из земли. Закатываем его на следи, опирающиеся одним концом на салазки. Как же медленно ползет четырехтонный кряж... Через полчаса упорной работы он наконец уложен; мы стоим охрипшие, потные, но довольные. Суется и спеша, привязываем кряж к салазкам ротангом. С каждой стороны салазок укрепляем по десяти лямок. Двадцать человек впрягаются в них и дергают, проверяя прочность. Но вот Пало, руководитель бригады тягелей, дает команду, и следует дружный рывок. Сверх наших ожиданий салазки подаются; ликующий крик приветствует первый успех. Новая команда — новый рывок, салазки смещаются еще на два-три дюйма. Команда — рывок, команда — рывок, все чаще и чаще.

Крики переходят в ритмичное пение, и салазки уже не прыгают, а ровно скользят. Под звуки бодрящей песни преодолевается несколько десятков метров. Потом — остановка. И опять звучит команда Пало, опять натягиваются лямки.

Ценой огромных усилий удастся сдвинуть салазки с места и протянуть их еще несколько десятков метров, пока полозья не заедает. Впереди бежит парнишка, смазывает поперечины собранным у реки жирным илом — это намного облегчает скольжение.

До берега реки, куда нужно доставить кряж, около полутора метров; почти двадцать минут уходит на этот отрезок пути. Дорога ровная, местами с небольшим

уклоном в сторону реки. Малейший подъем сделал бы транспортировку нашими средствами невозможной.

Дойдя до берега, сваливаем кряж с салазок. Под восторженные крики всей бригады он скатывается с откоса и шлепается в илистую воду, чуть не целиком погружаясь в нее. Мы привязываем его ротанговыми канатами, чтобы не унесло течением.

Пустые салазки возвращаются. Все нужно начинать сначала: раскачать кряж, погрузить на салазки, привязать и с нечеловеческими усилиями тащить к реке. Весь день уходит на перетаскивание первого ствола.

На следующий день мы прокладываем дорогу к остальным поваленным деревьям. И только через неделю все три ствола, срубленные Гонтором в первый день, раскряжеваны и спущены к реке. В жарких джунглях это адски тяжелая работа, к тому же небезопасная. У нас уже было несколько мелких происшествий; того и гляди, произойдет несчастный случай. Чего проще — стукнет по голове падающая ветка или попадешь под кряж: узкие салазки нет-нет да опрокидываются на плохо уложенных «рельсах».

Джунгли необъятны, а мы так малы... Вступать с ними в единоборство — безрассудно. А я-то обещал поставлять пять тысяч кубометров в месяц.

Мы едва управились с несколькими десятками, а тут — пять тысяч!

Но это еще не все. Угольная компания, на службе у которой я нахожусь, намерена вести дела основательно. Мне поручено построить лесопилку производительностью не менее двух тысяч кубометров пиломатериалов в месяц. До сих пор компания не продала леса и на одну спичку, потому что ничего не смыслит в рубке и раскряжевке. Может быть, поэтому и она положила на меня.

Правда, я около года занимался таксацией на севере Борнео, так что знаю здешние места. Знаю и людей. И я твердо убежден, что с этими людьми мне никогда не удастся заготовить пять тысяч кубометров в месяц!

Но руководство компании об этом и слышать не хочет. Как это так — не наладить рубку с людьми, вся жизнь которых проходит в лесу!

Ну что ж, попытка — не пытка. Мое дело — предупредить.

И вот я сижу, смотрю на свою бригаду и размышляю над тем, что, пожалуй, недооценивал этих людей.

Они помылись в реке после тяжелого трудового дня, прочли (во всяком случае некоторые из них) молитвы своему Аллаху и надели чистые саронги. Мы живем все вместе в длинной легкой постройке. Над головой — покатый навес из пальмовых листьев. Его приподнятый край обращен к реке, и с этой стороны стены нет. С другой стороны навес опускается почти до земли, опираясь на низенькую стенку. В метре над землей мы настелили на упругих пальмовых сваях пол; на нем и спим. Несколько перегородок отделяют ложа тех счастливых, которые привезли с собой жен. Их трое, и каждый получил свою клетушку. Ночью мы заползаем под свисающие с потолка противомоскитные сетки.

Несмотря на крайне напряженный день, рабочие совсем не выглядят усталыми. Шутят, болтают, некоторые достали карты и кости и садятся проигрывать заработанные тяжелым трудом деньги.

И пусть играют. Разве я могу помешать им — они же свободные люди!

Вот именно! В этом-то вся загвоздка: они свободные люди. И поэтому я считаю, что безнадежно пытаться приучить их к постоянной работе.

Все они приехали со мной потому, что у меня хорошие отношения с Авангом и старым Дуллой. Эти

двое последуют за мной куда угодно, навстречу любым приключениям. И они увлекли с собой остальных.

Разумеется, они будут стараться для меня. До поры — до времени. Пока я не заготовлю триста кубометров для первой, пробной партии. А потом?

Пять тысяч кубометров! Тут нужно не меньше тысячи человек. Даже если я прочешу все побережье и все долины на площади, равной двум Даниям, мне не удастся найти столько работоспособных мужчин. Не говоря уже о таких, которые были бы еще и работающими.

Но если бы мне и удалось набрать такое количество — как заставить этих свободных людей работать на меня? Ведь они по-настоящему свободные люди. Не такие, как мы в Швеции, привыкшие петь о нашей вековой свободе, хотя мы не имеем представления, что такое подлинная свобода. Разве может быть свободной личность в цивилизованном обществе?

...Низенький коренастый Абак недоуменно чешет затылок, когда я спрашиваю его, зачем ему понадобилось оставить свою деревню и отправиться вверх по реке именно теперь, когда я хочу, чтобы он поехал со мной на Нунукан. «Что у тебя за причина такая?» — спрашиваю я.

Гм, он об этом как-то не задумывался. Разве непременно должна быть какая-то причина, когда куда-то отправляешься?

Единственный довод, который Абак в конце концов оказывается в состоянии привести, — ему просто захотелось сейчас подняться вверх по реке.

— Может быть, мне попадет подходящий клочок для маниоки...

И разве есть кто-нибудь или что-нибудь на свете, что могло бы помешать Абаку идти, куда он хочет, и делать, что он хочет?

Абак расчищает клочок земли в джунглях на берегу реки и сооружает себе лачугу из пальмовых листьев. Работает он без гонки, без спешки. Потом сажает немного маниоки, возможно еще и немного риса, а его жена — кофейные и фруктовые деревья и пальмы. Абак спит, ест, охотится, — короче, делает, что ему вздумается, пока созреет то, что он посадил. Если ему понадобится материал для одежды, он соберет в джунглях ротанг и выменяет на него материал у купца-китайца. Не захочется собирать ротанг, он обойдется одеждой из луба или будет ходить голый. Надоест одно место, он преспокойно отправится в другое. Джунгли быстро поглотят расчистку. И лишь пальмы на берегу реки будут напоминать о том, что когда-то именно это место пришлось по душе Абаку.

Эмбер и Умар почти все время посвящают ловле маленьких птичек в джунглях. Их жены сидят в хижинах, охраняют посевы и пьют кофе. Поймав несколько десятков птичек, мужчины плывут на пирогах в Таракан, покрывая сотню километров за сутки или за неделю. Там они продают птиц голландцам по гульдену за штуку.

— Вы бы расчистили в джунглях участок побольше и продавали рис и маниоку вместо птиц. Вам же гораздо выгоднее. На птицах вы выручаете от силы двадцать центов в день. Пойдете со мной — получите пятьдесят. А у голландцев в Таракане можете зарабатывать до гульдена в день. Что вы возитесь с этими птичками?

Они только хохочут в ответ. Не могут понять, шучу я или слегка помешался.

В глубине души я знаю, что они правы. Большинство белых, и я в том числе, действительно помешались на своем пристрастии к работе.

А они — свободные люди, и хотят делать только то, что им по душе.

Хуже всего для меня, что у них благодаря влажному климату, щедрости здешней природы есть такая возможность. Борнео заботится о том, чтобы его дети жили свободными.

Так как же принудить этих людей заготавливать пять тысяч кубических метров древесины в месяц? Как внушить им такое желание получить от меня пятьдесят центов, чтобы они стремились работать изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год? Я должен добиться этого, если хочу выполнить то, что обещал компании.

Ну хорошо, Эмбера и Умара я в конце концов уговорил пожертвовать своей свободой и работать на меня. Но надолго ли?

Я обсуждаю этот вопрос с Джаином, моим объездчиком.

Джаин сидит на корточках около меня. Сам я растянулся на топчане. Мы еще по опустили противомоскитные сетки. Под ними сразу делается так душно, что мы предпочитаем повременить и предоставляем комарам возможность напиться нашей крови.

У Джаина на коленях носатая обезьянка; она прильнула к нему, обхватив его шею рукой. Маленькая толстенькая Сити, жена Эмбера, сидит рядом и делает вид, будто увлечена обезьянкой. Я склонен думать, что ее больше интересует Джаин. Эмбер уже дважды окликал ее из клетушки, но в ответ получал только фырканье.

— Сделаем так, чтобы они могли проигрывать свои деньги, тогда они останутся и будут работать, сколько угодно, — говорит Джаин. — Пусть в день полочки сюда приезжают профессиональные игроки.

— Но ведь это запрещено, — возражаю я.

— Мало ли что запрещено. Мы должны заготовить лес, и нам нужны такие люди, которые работали бы

постоянно. А эти разве могут, туан^[5]? Они даже не приучены выполнять приказания.

Джаин презрительно сплевывает в сторону реки.

— Ступай, ложись, не таращь глаза! У тебя что — совсем стыда нет? — обращается он к Сити.

Она медленно поднимается, нежно смотрит не то на обезьянку, не то на Джаина и отправляется к своему ворчливому супругу. Они переругиваются.

— Это верно, Джаин, с китайскими рабочими куда легче. Представь себе хотя бы две бригады вроде тех, с которыми ты работал в Индрагари.

— Я могу съездить туда и привезти людей. Пусть только туан даст мне разрешение и деньги.

Джаин — минангкабау с западного побережья Суматры. Гордый и самолюбивый народ эти минангкабау. Типичные малайцы^[6].

К тому же Джаин — далеко не свободный человек. С пятнадцати лет он работает на лесных промыслах. У него жена и девять детей. Они остались в Индрагари, но он собирается перевезти их сюда, как только мы отстроимся и наведем порядок. Джаину почти никогда не хватает его заработка. Поэтому он вынужден постоянно выполнять чужие приказания. Он настолько привык к такой жизни, что иной себе и не представляет. Верит, что это и есть настоящая свобода.

У Джаина беспокойная душа. Его непрестанно обуревают жажда деятельности, он весь нетерпение. Мы работали вместе на восточном побережье Суматры, так что я неплохо знаю его. Достаточно в самых общих чертах наметить, что надо сделать, а истом только придерживай Джаина, чтобы он не загнал и других и самого себя.

Он худой и костлявый, карие глаза сверкают, губы искривлены иронической складкой. И так как Джаин

презирает глупость, легкомыслие и безбожие, эта складка почти никогда не разглаживается.

Джанн выглядит очень свирепым, когда гонит от себя Сити. Но я подозреваю, что Сити готова стерпеть от него все, даже побои. Она принадлежит к числу женщин, любящих таких мужчин, которые дают почувствовать свое мужское превосходство. Эмбер совершенно иной человек. Он слишком добр.

— Ну что ж, посмотрим, Джаин. Подождем месяц: не выйдет ничего с этими людьми — придется отправить тебя за китайцами. Если разрешит компания, конечно.

— Туан! У нас здесь скоро начнутся неприятности из-за женщин. На двадцать пять мужчин три женщины. Добром это не кончится. Надо что-то предпринять!

— Боишься, что тебе попадет из-за Сити?

— Аллах с вами, туан! Мне и в голову не придет прикоснуться к этой сучке. Да и Эмбер не из тех, кто может постоять за свою жену. Но Ахмат! Он же бешеный, туан. Достаточно кому-нибудь взглянуть на Селаму, как он уже готов убить его. Они совсем как звери, туан.

«Что верно, то верно», — думаю я. Я и сам иногда зверею. Жаль, что только иногда.

Лежа на спине, смотрю на пестрого ужа, который охотится на потолке за древесной лягушкой, слежу за его гибкими движениями. Вот он молниеносно хватает добычу. Он поймал ее за задние лапки и пытается проглотить, торопится, ему некогда даже перехватить ее поудобнее. И зря: нужно было начать с головы. А теперь несчастная лягушка успевает издать жалобный звук. Мое сердце дрогнуло, жестокость змеи меня возмутила. Я ткнул ужа прутом, и он выпустил раненую лягушку. Она упала на пол. Подошла курица и выклевала лягушке глаза, потом принялась за мозг. Завтра я сверну голову курице и съем ее.

Мой фонарь привлекает мириады насекомых. Они обжигают крылышки и падают на землю. Там их поджидают ящерицы и лягушки. Сегодня вечером совершают свой брачный полет термиты. Полчища жирных, мягких термитов выбираются из подземных жилищ и тучами взлетают вверх, чтобы высоко в небе отпраздновать свою первую и единственную брачную ночь. Но мало кому удается достичь цели, и еще меньше возвращается оплодотворенными для продолжения рода: большинство поедает птицы, летучие мыши, лягушки и ящерицы.

Миллионы жизней вспыхивают и гаснут, словно огоньки, за одну только ночь. Здесь не привыкли считаться друг с другом. Каждый поглощен своим собственным существованием. Живи, размножайся и умирай — таков закон джунглей, которому послушно следуют все их обитатели.

Так что из того, что Ахмат вонзит нож в соперника? Что из того, что вертлявая Сити заставит нескольких мужчин остро ненавидеть друг друга?

«Нам же потом расхлебывать это дело», — говорит Джаин. Возможно, он и прав. Мы с ним будем расхлебывать. Но что до этого джунглям?

— Да, туан, — продолжает Джаин свою мысль, — пусть играют! Проиграют все деньги — придется зарабатывать снова. Я разговаривал с одним арабом в Таракане, туан. Он говорит: этих людей очень легко заставить работать — нужно только выдать аванс, а потом сделать так, чтобы они не могли расплатиться.

— Но ведь это же подло, Джаин!

— Тогда отпустите меня за китайцами, туан! Они привыкли работать как следует, и их мы привяжем самой надежной и прочной цепью: опиумом.

— Ты подумал о том, что здесь особенные люди — совершенно свободные люди! А мы хотим отнять у них свободу!

— Э, что это за свобода! Живут как вздумается, потому что ничего дельного в голову не приходит. Да у них ума не хватает на что-нибудь толковое!

Я опускаю сетку в знак окончания дискуссии. Тело ноет от усталости. Зачем Джаин так усложняет вопрос? У меня сейчас просто нет сил разбираться в этих проблемах.

Неужели искусство жить свободно состоит в том, чтобы ни к чему не стремиться? В таком случае это чудовищно трудное искусство. Во всяком случае для меня и для Джаина.

Пять тысяч кубометров в месяц... Какая уж тут свобода!

Каждый день мы спускаем к реке кряжи. За две недели их набралось около сорока. Большая часть плавает вдоль берега; они привязаны ротанговыми канатами. Некоторые затонули. По ночам старый Дулла дежурит: как бы не было бури. Стоит пройти сильному дождю, как по руслам, смывая все на своем пути, мчатся бурные потоки. Порой река вырывает с корнями деревья, а то уносит и лесистые мысочки. Поэтому я плохо представляю себе, на что рассчитывает старый Дулла. Уж лучше, как мы, слепо надеяться, что не будет никаких разливов до той поры, когда придет судно, которое должно забрать первые триста кубометров.

— Я же работал на заготовке, — объясняет Дулла. — На Филиппинах, в английском Борнео, в Малайе. Знаю, как надо действовать. Если начнется ветер, поплыву с кряжами до моря. А там собирай их и тащи обратно.

— Совершенно верно! Когда есть буксир. А у нас что? Одна только парусная лодка.

Дулла широко улыбается, показывая свой единственный зуб.

Мы связываем кряжи в плоты ротанговыми канатами, по четыре кряжа, тяжелые с легкими. Сверху для устойчивости укрепляем толстые поперечины.

Работа трудная и опасная: река кишит крокодилами. Но парни не боятся. Они плавают и ныряют, словно водяные крысы, а три женщины сидят на берегу и восхищаются ими: плоты вяжут около самого лагеря.

Через полтора суток плоты готовы, и мы возобновляем работу в джунглях.

Там, где мы обосновались, джунгли уже начинают заметно редеть. Мы не ведем сплошной рубки. Деревья, которые на уровне груди человека не достигают шестидесяти сантиметров в поперечнике, оставляем. Но и из них многие поломаны и повреждены. Беспорядочно свисают растрепанные лианы и ротанговые пальмы. Яркие солнечные лучи оттеснили таинственный зеленый полумрак, и джунгли лишились своей мелодии. Утренний гимн голосистых гиббонов — вот мелодия дебрей Борнео. Теперь обезьяны убежали далеко от того места, где человек нарушил ритм жизни джунглей.

— Как бы не было беды, — говорит старый Дулла.

Ночью во время дежурства он слышал шепот духов джунглей. Они недовольны тем, как мы тут хозяйничаем. И ведь мы даже не принесли им жертвы, не извинились, прежде чем приниматься за дело.

Аванг весело хохочет над мрачными пророчествами Дуллы; мы с Джаином вторим ему. Аванг служил матросом, ходил в Австралию, в Америку и не верит ни в каких духов.

Но на следующее утро Гонтор, возвратившись в лагерь, бесстрастно сообщает, что Ахмат убит. Сломанный сук повис было на дереве, потом вдруг упал и пробил ему голову.

Ахмат и Гонтор вдвоем работали, расчищали дорогу к срубленному дереву. А как раз накануне вечером жена Ахмата улыбнулась Гонтору. «Видно, хочет, чтобы Ахмат воткнул в него нож», — сказал кто-то. Гонтор тогда только посмеялся. Теперь он уже не смеется. Не спеша укладывает пожитки и отправляется в путь на

своей маленькой пироге. Говорит на прощанье, что сыт по горло этой жизнью.

Мы нашли Ахмата на дороге, которую они прокладывали вместе. Голова разбита. Разбита сукон: крано прилипли щепки и кусочки коры. Но упал ли сук с дерева или другой его конец находился в руках Гонтора, решить невозможно. Да и какое это имеет значение?..

Вот только глаза Ахмата никогда больше не увидят морских просторов. А его жена, Селама, перешла к Джангбакару.

В этот вечер у меня было скверно на душе. Мы начали превращаться в зверей. Джангбакар был среди нас самым сильным. Вот он и взял себе освободившуюся самку.

Двадцать пять мужчин и три женщины. Джунгли не терпели такого противоестественного соотношения. И каждый из нас чувствовал это. Днем, на работе, мы отлично уживались, но вечером присутствие женщин рождало враждебность между мужчинами. Они обменивались злыми словами, когда женщины слышали их; точили ножи так, чтобы женщины это видели.

Путы, которые накладывает на человека жизнь в обществе, оказываются весьма непрочными в атмосфере джунглей. Здесь пробуждаются первобытные инстинкты — стремление взять себе самку и готовность драться за нее. Чувствуешь себя сильным, но в то же время стыдишься, потому что эта сила подчинена лишь животной страсти.

— Селама хорошая женщина, — говорю я Джаину. — И красивая. Шаль, что она попала в лапы этому грубияну Джангбакару.

— Туан, я уже говорил: нехорошо это, когда среди стольких мужчин всего три женщины. Лучше уж, пока не случилось новой беды, выпроводить и этих трех.

Джаин мрачно косится на клетушку Джангбакара и Селама. Мне не легко ответить Джаину. Если я отошлю женщин, уйдут и многие мужчины. Лучше обождать, пока у нас не прибавится рабочих. И надеяться, что тогда здесь станет больше женщин. Скажем, одна на троих мужчин.

Селама не стала лить слезы по Ахмату. Здесь не принято плакать по мужчине, который был заморожен. Да и к чему горевать, когда мужчин так много и джунгли притупили чувства? Ненависть и вожделение управляют жизнью нашего лагеря.

И все же надо постараться завлечь сюда женщин. Пока не стало еще хуже. Пока я сам не превратился в зверя.

— Мы должны как-то задобрить духов джунглей, — говорит Дулла. — Это важнее, чем привозить женщин.

* * *

Медленно идут дни. Джангбакар все больше мрачнеет. Он то и дело оставляет работу, чтобы прокрасться к лагерю и проверить, чем занята Селама. Ссылается каждый раз на то, что у него температура, нужно принять лекарство. Но всем ясно, в чем дело. Что и говорить, нелегко быть обладателем женщины, когда тебя окружают столько мужчин!

Я ловлю себя на том, что заглядываюсь на ноги Сити. У нее кожа грубее, чем обычно у малаек. Кроме того, ее ноги покрыты пушком, а у малаек, как правило, совсем нет волос на теле. Как бы я поступил, если бы мы с ней оказались вдвоем в джунглях? У нее противная нагловатая ухмылочка. В других условиях я не стал бы и глядеть в ее сторону. А теперь вот раздумываю: смог бы

я из-за нее убить остальных мужчин, будь наш лагерь совсем отрезан от внешнего мира? Временами я забываю, что где-то существует иная жизнь. Мне начинает казаться, что вертлявая Сити — единственная женщина на свете, и я испытываю отвратительное влечение к ней.

— Надо принести в жертву белую курицу, — говорит старый Дулла. — Белую курицу, тарелку риса и два яйца. Не то джунгли убьют еще кого-нибудь из нас.

Каждый вечер я сижу и смотрю на Сити. У нее круглый живот, полные груди. Но голос резкий и противный. Маленькие глаза с тяжелыми веками. Если она поднимает саронг выше положенного, я вижу у нее над самой коленкой покрытое волосками родимое пятнышко.

Что если Эмбер погибнет? Он всех отчаяннее ныряет под кряжи, когда мы вяжем плоты. Кто возьмет Сити, когда крокодил возьмет Эмбера? Я белый, к тому же начальник. Никто не посмеет помешать мне. А впрочем, так ли это? Не все ли равно, белая у тебя кожа или смуглая, коль скоро под этой кожей бурлит одинаково красная кровь и страсть заправляет всем. Может быть, получив Сити, я получу и палкой по голове...

Джаин прогоняет Сити, отсылает ее, как обычно, к Эмберу. Кажется, Джаин единственный, кто не поддается влиянию джунглей. Впрочем, Аванга как будто тоже не затронули страсти и мрачные размышления. Знай себе острит и смеется, когда остальные точат свои ножи и мечи. На женщин он смотрит безо всякого вожделения. Часто уводит меня на ночную охоту с фонарем. Это лучше, чем торчать в лагере и ждать, когда Сити покажет ноги.

У Аванга удивительно светлая душа. Это человек с легким характером, смешливый и добрый. Он чистокровный малаец, случайно очутился в этом заброшенном уголке Борнео. «Игрок» — так зовут его

остальные. Это потому, что он выделяется даже среди малайцев своей страстью к игре. Но чем объяснить, что Аванг не смотрит на женщин такими же глазами, как мы?

— Он любит свою жену, — говорит Дулла; они давно знакомы.

Удивительный человек.

* * *

Эмберу не суждено было угодить в пасть крокодилу. Его придавило салазками.

Мы проложили через болото настил. Один из деревянных рельсов оказался слишком слабым. Когда по ним тащили пятитонный кряж, он сломался, салазки перевернулись, и Эмбер очутился под ними. Он шел у самого кряжа и не успел отскочить. Очевидно, думал о том, верна ли ему Сити. Ужасное зрелище: ноги и всю нижнюю часть тела раздавило в лепешку, изо рта текла кровь. В тот вечер я не думал о Сити.

Па следующий день мы принесли жертву духам: белую курицу, рис, яйца. Дулла бормотал заклинания. А вечером я так упорно думал о Сити, что у меня во время еды дрожали руки.

О, проклятые джунгли!..

Три дня Джаин стерег клетушку Сити, никого не подпускал к ней.

Но вот вернулся Аванг со своей женой, за которой поехал в день смерти Эмбера. Посмотрев на нее, я сразу понял, насколько отупел и озверел здесь.

Жена Аванга была, как и он, из Малайи. Чистокровная малайка, утверждал Аванг. Вполне возможно, хотя мне никогда не доводилось видеть

малайки с такими тонкими чертами лица, как у Джарджи. Кстати, у нее не только лицо было прекрасно — она обладала удивительно стройной фигурой. Но главное — ее глаза и застенчивая улыбка. Это благодаря им мы вдруг почувствовали, что среди нас, зверей, появилось высшее существо, и устыдились навеянных джунглями страстей и мыслей. Мне стало понятно, почему беспечный Аванг никогда не смотрел с вожделением на других женщин. В каждом взоре, который обращал на жену этот веселый, беззаботный человек, можно было прочесть, как он боготворит ее.

Джарджа привезла с собой двоих детей. С первого взгляда видно, что это ее дети. Они были чище и вели себя гораздо лучше, чем большинство их сверстников. «А через шесть-семь месяцев, — сообщил мне Аванг, — Джарджа родит еще одного»!

За какую-нибудь неделю настроение в лагере переменялось. Мужчины не точили ножей по вечерам, и красное, как кровь, Вожделение не разгуливало вокруг так нахально, как прежде. Я не берусь точно описать чувства остальных, но сам я уже больше не любовался ногами Сити и не раздумывал, что бы я сделал, очутившись с ней наедине в джунглях. Мне казалось, что и Сити перестала беззастенчиво строить глазки; и Селама старалась играть роль жены, а не любовницы своего нового хозяина.

Чем это объяснить? Джарджа никого не поучала, но показывала, что не одобряет наших грубых мыслей и нравов. Она говорила очень мало, но на ее губах всегда была приветливая улыбка. Охотно помогала лагерным жителям в разных мелочах: перевязывала ссадины, угощала кофе, оказывала другие знаки внимания. И в отличие от остальных обитательниц лагеря вела свое хозяйство так, как надлежит женщине, заботилась о том, чтобы к приходу Аванга был готов обед. Ее клетушка под нашей общей крышей стала настоящим

домашним очагом: противомоскитная сетка всегда выстирана, незамысловатая утварь и вещи на мостах, в вазочке из бамбука — цветок. Но не это нас укротило. Дело было в другом: у Джарджи могли быть только чистые и добрые мысли, и мы все каким-то образом почувствовали это. Неужели и мои мысли не секрет для окружающих? Наверно. Ведь я же знал, что остальные мужчины думали о том, о чем думал я...

И вот теперь зверь отступил. Мы увидели человечность Джарджи, и нам стало стыдно за себя.

Вскоре после того как приехала Джарджа, мы услышали в джунглях новый звук: гудок парохода. Пароход впервые добрался до Нунукана.

Мы кричали, гикали, хохотали. Забыв о работе, мы помчались сломя голову через заросли к устью реки. А когда выскочили на берег моря и совсем близко увидели стоящее на якоре судно, то даже запрыгали от радости.

Почему? Об этом в тот миг никто не задумывался. Прибежали, и все. Мужчины и женщины, все, кроме старого Дуллы: он не торопясь спустился вниз по реке на пироге.

Конечно, я знаю, почему. Гудок парохода напомнил нам, что мы хозяева. Мы — люди! И что есть другой мир за пределами нашего маленького участка. А мы было начали сомневаться в этом. Нам уже казалось, что мы проданы в рабство и джунгли — наш хозяин, а не мы хозяева джунглей.

Но пароход громко возвестил, что мы — владыки, и наше тщеславие, которое совсем зачахло в этом лесу, опять расцвело.

Я прыгнул в лодку к Дулле, и мы пошли к ослепительно белому судну. Остальные поспешили обратно в лагерь и принялись лихорадочно обрубать канаты. Начался сплав.

С парохода подали конец. Мы подвезли его к плотам, и вот они уже плывут к судну, подтягиваемые лебедкой.

Кряж за кряжем поднимался на борт. Огромные колоды весом от трех до шести тонн. Лебедки ныли и скрипели, люди суетились и кричали, корпус судна дрожал, а голландские штурманы глядели с удивлением на копошившихся в воде людей и с опаской на готовые сорваться кряжи. Капитан отправился со мной на берег посмотреть на мое «жилье».

Нас встретил притихший, безлюдный лагерь. Лишь две-три цикады пытались пронзительным стрекотом пробить душную полуденную тишину. Капитану было непонятно, как может человек выдержать хотя бы один день в таком месте. Я показал ему, где живу, что ем. Он смотрел на меня с недоумением. Вероятно, решил, что я уже свихнулся: разве может нормальный человек вынести такую жизнь? Без хлеба, без приличного жилья, без удобоваримой пищи, без музыки, без холодильника, без электрического освещения, — короче, без всего того, что называется цивилизацией. Один среди кучки дикарей.

Слушая его, я спросил себя: а суждено ли мне когда-либо еще увидеть тот мир, о котором он рассказывает? Может быть, хватка джунглей настолько крепка, что мне уже не вырваться?

Напоследок капитан одарил меня всевозможными припасами.

Поздно вечером, погрузив наши триста кубометров, судно подняло якорь. Когда прозвучал третий гудок, вокруг нас будто разверзлась зияющая пустота.

И вот исчез в черной ночи маленький кусочек другого мира. Мы опять одни в лагере на берегу реки, стиснутом в могучих объятиях джунглей.

В тот вечер было очень тихо. Я говорю не о цикадах, не о ночных птицах, а о людях на расчищенном пятачке,

которые молча ели на ужин хлеб и консервированное
мясо.

Борьба продолжается

Прошло четыре месяца с тех пор, как я впервые ступил на берег Нунукана. Я получил буксир, подвесной мотор и походную кузницу с инструментами, которой заправляет Аванг. Выбрал место для лесопилки, строю себе настоящий дом, заготавливаю уже тысячу с лишним кубометров в месяц и начинаю верить, что топор победит джунгли.

Не так просто было добиться всего этого: напряженный труд, долгие размышления, бессонные ночи. Из моей первой бригады лесорубов почти никого не осталось. От поденной оплаты я отказался. Вернее, старый Дулла, Аванг и еще несколько человек по-прежнему служат у меня, но заготовка леса оплачивается теперь аккордно: от двух до пяти гульденов за кубометр древесины в плотях на реке или у берега моря.

Араб, о котором мне говорил Джаин, стал первым начальником участка на Нунукане. Раньше у него была лавчонка на острове Мандол. Он торговал с даяками и приморским населением. Мануфактуру, рис, рыболовные крючки, гвозди, стеклянные бусы и прочий товар менял на ротанг, смолы, крокодиловую кожу и камфару. Многие оказались у него в долгу и были вынуждены, захватив семьи, последовать за ним на Нунукан. Он снабжал их продуктами, но в первую очередь заботился о том, чтобы они все время оставались его должниками. Эти люди работали довольно усердно. Тридцать человек заготавливали около трехсот кубометров в месяц. Араб ничего не зарабатывал на лесе, зато наживался на товарах, которые продавал рабочим. Никто из них не знал размеров своего долга, не знал, сколько араб берет за

тот или иной товар. Им было безразлично. Никто не роптал, однако я понимал, что со временем надо будет попытаться изменить этот порядок.

Вслед за арабом появились и другие начальники — китайцы, метисы и два малайца. В основном это были такие же торговцы, у которых имелись должники. Большинство новых лесорубов — из приморской части Борнео; встречались среди них также даяки, буги и макассарцы, как правило, буйный народ. Они ни во что не ставили жизнь человека и чуть что хватались за ножи, однако работали добросовестно — кубометр за кубометром поступал из джунглей. Они вгрызались в лес вдоль всего побережья Нунукана и Себатика, поднимались вверх по рекам Борнео.

Для могучих, бескрайных джунглей это были мушиные укусы. И все же джунгли были недовольны. Они наносили ответные удары, притом с такой силой, что порой казалось — нам придется прекратить борьбу и убираться подобра-поздорову.

Главное оружие джунглей — малярия.

Одна бригада за другой оставалась без людей, и приходилось бросать работу. Одни умирали, другие спешили уйти, пока живы. Остальные были настолько измотаны малярией, что работали кое-как. Мне удавалось набирать новых людей, но и они не выдерживали единоборства с малярией. Эта кровопийца не щадила никого — ни белых, ни китайцев, ни индонезийцев.

Производительность падала вместо того, чтобы расти. На реке Себуку малярия в конце концов взяла верх. Пришлось совсем прекратить работы. Посылать туда людей — значило посылать их на смерть.

Хинин не помогал. Конечно, он многих спасал от смерти, но от малярии все равно не избавлял. А тот, кто ходит с малярией, не в состоянии сделать и половины того, что сделает здоровый человек.

Наступил страшный период, болезнь свирепствовала вовсю. Мне до сих пор непонятно, как мы выстояли. Сам я уже потерял всякую надежду выиграть это сражение. Не знаю, сколько человек умерло, но кладбище все росло и росло. Просто удивительно, что люди не отказывались наотрез работать на Нунукане. Теперь я поражаюсь, как у меня хватало совести привозить туда бригаду за бригадой, обрекая людей на болезнь и мучения, а то и на смерть. Если я не чувствовал себя убийцей, то вероятно потому, что тоже заболел. По меньшей мере раз в месяц у меня бывали такие приступы, что я думал — это конец.

На Себатике и на Борнео положение оставалось тяжелым, зато на Нунукане постепенно стало легче. Малярия не отступила, но мы в конце концов настолько свыклись с ней, что проклятой заразе все реже удавалось свалить нас с ног. Мы ходили бледные, желтые, страшно ослабевшие; организм не успевал производить достаточно кровяных телец и для нас, и для малярийных паразитов.

На Нунукане производительность снова стала расти. Одна бригада за другой одолевала малярию, и джунглям пришлось сдаться. Раз в месяц приходили пароходы и нагружали трюмы лесом, который в полном смысле слова был добыт ценой нашей крови.

Это было год спустя после начала рубки. Теперь мы заготавливали ежемесячно три тысячи кубометров.

А затем мало-помалу лесорубы утвердились и на реках большой земли, за исключением Себуку: там победила малярия.

Пароходы привозили нам машины, цемент, продукты и напоминание о большом мире.

Полудикое существование для меня кончилось. Я не жалел об этом. Я не знаю ничего лучше жизни в джунглях — до тех пор, пока я здоров, силен и могу вволю бродить. Но когда тебя треплет малярия да ты к

тому же вынужден из месяца в месяц торчать на одном месте, — лучше иметь настоящий дом, ласкаемый лучами солнца, овеваемый морским бризом, подальше от падающих деревьев и зеленых лесных духов. Дом, где можно иногда отдохнуть и почувствовать себя человеком.

На северном мысе Нунукана я расчистил участок в несколько десятков гектаров и на пригорке у моря поставил себе бунгало.

Во время расчистки нам попадались захиревшие кокосовые пальмы. Мы пощадили их, и они очень скоро покрылись свежей листвой, потом стали цвести и плодоносить. Благодаря этим пальмам мой дом не выглядел новостройкой. Он очутился в тенистой пальмовой роще, и теплый ночной ветер пел мне песни южных морей — совсем не те песни, какие слышишь, когда могучий муссон ступает по гигантскому зеленому своду джунглей.

Кокосовые пальмы чахнут без человека. По словам старого Дуллы, им нужно обонять дым домашних очагов и слышать смех и песни, чтобы жить. Когда-то на расчищенном мною теперь месте была деревня. Лет двадцать назад на Борнео свирепствовала эпидемия холеры, и деревня опустела. Не так уж много времени нужно джунглям, чтобы разрушить лачуги, задушить сады и утопить пальмы в своей буйной зелени. Но не все пальмы погибли: многие уцелели, хотя и перестали плодоносить. Вначале у них было лишь по несколько хилых зеленых побегов, а уже через полгода они обрели свой обычный вид и явно благоденствовали на соленом морском ветру.

Я позаботился не только о себе. Кругом выросло с десяток домов, в которых поселились мантри^[7] и несколько моих помощников-голландцев. В устье реки неподалеку от моего дома появилась лесопилка: две

рамы с просветом в один метр, небольшие дисковые пилы и прочее оборудование. Электричество, механизация. Электростанция — на паровых котлах, отапливаемых древесными отходами. На берегу моря мы соорудили пирс, чтобы мог подойти пароход, а на реке у лесопилки сделали запруду, и получился большой лесосклад.

Правда, индонезийцы (и я вместе с ними) видели в судах, машинах, электричестве скорее увлекательные игрушки, нежели могучую силу на службе человеческого гения. Зато голландцы очень серьезно относились к этим выдумкам Запада.

А меня больше всего волновала проблема рабочей силы.

Я завербовал всех, кого было можно, на побережье ближайших островов, включая Борнео, от Тавао до Булонгана. Я посылал вербовщиков до самой Самаринды; они привезли несколько сот человек — макассарцев, бугов и других. Кто-то из рабочих захватил с собой жен, кто-то не захватил. Результат — драки и поножовщина. Играли в карты и кости, порой целые ночи напролет. И, кроме того, заготовливали лес, три тысячи кубометров к месяц. Но этого было мало. Пять тысяч кубометров — вот цифра, к которой стремилось руководство компании. А я не мог больше найти людей. Не мог и заставить своих лесорубов работать лучше. На восточном побережье Суматры мне доводилось видеть китайцев, и я знал, как надо организовать работу. Джаин знал это еще лучше меня и день-деньской бранил наших людей: их никак не заставишь построить настоящую дорогу, никак не научишь точить пилу и правильно пилить. Взять, например, даяков. Нет того чтобы наточить пилу, — они просто брались за нее вшестером, по трое с каждой стороны, привязав веревки к ручкам. Посмотришь —

пила не режет, а буквально ввинчивается в метровый ствол. Только топором они владели хорошо.

День за днем я носился по этим непокорным джунглям. Но как я ни старался, мы топтались на месте. Хорошо еще, что не снижали достигнутых темпов. Стоило мне набрать новых лесорубов, как непременно уходил кто-нибудь из старых. Или начинала свирепствовать малярия и вдоль всей реки или в целом округе работа останавливалась.

Голландские власти всячески помогали вербовать людей. Их контролеры^[8] направляли ко мне из дебрей Борнео одну партию даяков за другой. Но даяки работали не больше полугода и уходили. Это были свободные люди!

Пытаясь превратить свободных людей в рабов, я научился по-новому смотреть на наше общество, понял, до какой степени мы, белые, не вольны в своих действиях по сравнению с так называемыми дикарями.

В разгар работы, когда я сам во всем участвовал, у меня не было времени наблюдать и осмысливать происходящее. И лишь уйдя куда-нибудь в нетронутую чащу, я мог посидеть, отдохнуть и поразмыслить над тем, что видел. Окруженный стеной безбрежного леса, я видел все куда лучше. В джунглях столько жизни — и столько смертей, что становится очевидной суетность всего сущего. А когда человек познал, сколь незначительно все то, что обычно наполняет каждую секунду его жизни, кругозор его безмерно расширяется.

Я видел в джунглях, как две армии муравьев уничтожали одна другую. На площади в много квадратных метров подстилка джунглей была покрыта застывшими в предсмертных судорогах трупами больших черных муравьев. Что заставило их истреблять друг друга? Они сражались не из-за пищи, не из-за жизненного пространства — они просто убивали. С

величайшим тщанием, спокойно и методично, один на один. Когда я пытался помочь одному, он отказывался кусать противника. Лишь в том случае, когда оба были уверены, что прикончат друг друга одновременно, они сжимали челюсти в последнем предсмертном укусе. Никто не вышел живым из этой схватки. Я даже не мог установить, были ли это две различные армии или я наблюдал взаимное истребление членов одной муравьиной семьи.

Почему?

Да, почему? Почему я выбивался из сил, иссушаемый малярией, мучимый беспокойством, что никогда не достигну проклятой цифры — пять тысяч кубометров древесины в месяц? Чего ради старался принудить всех этих людей трудиться в джунглях, которые каждый месяц заставляли нас расплачиваться человеческими жизнями, — когда несколькими, а когда и десятками?..

Ради чего? Ради того, чтобы снабжать бревнами другие страны?

Да нет, скорее всего потому, что несколько господ в Амстердаме были озабочены тем, как выручить побольше прибыли со своих капиталов. А меня им удалось завербовать потому, что я искал заработка и мечтал о приключениях.

Жажда наживы, обуревающая голландских капиталистов, принудила меня и тысячи рабочих под моим началом трудиться из последних сил единственно ради того, чтобы набивать кряжами ненасытные утробы пароходов.

Или, говоря словами самих капиталистов: предприимчивость дальновидных голландцев заставила меня вместе с горсткой туземцев проделать блестящую работу по освоению новых земель. Наш труд способствует прогрессу здешнего края и его народа. И обеспечивает лесом Китай и Японию, которые так нуждаются в древесине.

Отдыхая в объятиях джунглей, я отчетливо понимал, что этн слова — ложь. Нас подстегивал чистоган.

Когда повседневная суতোлка не застилала мне глаз, я видел, как куются цепи, чтобы всех нас превратить в рабов компании. Видел, как расставляются предательские ловушки. В миниатюре я видел, как возникло эксплуататорское общество Запада.

Кругом — зеленые джунгли. Все оплетено лианами и колючим ротангом. На Западе джунгли — серые. Мы можем вырваться из зеленых джунглей. Мы можем вырубить лес на берегу реки или моря, и откроется солнечная поляна. Мы можем расчистить участок земли, засеять его, собрать урожай и послать к чертям всех десятников. Можем стать свободными.

Из серых джунглей парангом не пробьешься. Там все оплетают лианы совсем иного рода: страх перед завтрашним днем, борьба за кусок хлеба, классовая ненависть, нищета и погоня за «благоденствием». В серых джунглях вся жизнь — сплошное рабство для масс. Они рабы машин и других людей. Там огромная махина не дает своим рабам времени осмотреться, одуматься, разорвать заколдованный круг. И это называется цивилизацией.

Конечно, кое-кому удастся, поразмыслив, вырваться на волю. Но масса не понимает их, когда они рассказывают о том, что увидели, называет безумными тех, кто рвет узы.

... И вот теперь я полным ходом превращаю смуглых детей джунглей в таких же рабов.

Когда приезжал директор компании, мы с ним тщательно обсуждали, как это лучше делать. К тому времени я уже изучил своих людей и знал их слабости. Знал, что их женщины ленивы и падки на побрякушки и кофе. Знал, что мужчины легко увлекаются азартными

играми, и это увлечение переходит во всепоглощающую страсть. Знал, что, раз увидев на экране, как белые мужчины безобразничают, дерутся, убивают, крутят любовь, они будут стремиться увидеть это снова и снова.

В итоге мы решили открыть доступ на остров китайским лавочникам. Они торговали одеждой и лакомствами, но больше всего золотыми безделушками. Мы позволили открыть тайные игорные притоны. Раз в месяц, после получки, всем рабочим разрешалось целые сутки играть вволю. За ночь банкометы выуживали у игроков заработанные тяжелым трудом гроши. Мы решили также показывать фильмы и возможно дороже брать за билеты. Открыть бильярдные залы. Индонезийцы обожают бильярд. К сожалению, они мусульмане, вина не пьют. Не то мы, открыв кабаки, в кратчайший срок завершили бы процесс приобщения их к цивилизации.

Во всех этих «благородных» начинаниях женщины — мои союзницы. Женщин здесь мало, и они знают себе цену. Супруг, который не может дать жене все, чего она пожелает, как правило, быстро теряет ее. Женщины не работают. Большинство из них только играют в кости да пьют кофе. Мужчины трудятся не покладая рук, чтобы угодить им. Кичливость и половой инстинкт заставляют мужчин идти на все ради своих женщин. И помогают рыцарям чистогана делать мужчин рабами.

Стало обычным, что мужчина забирает большие авансы, чтобы купить женщине побрякушки; нередко с целью сманить жену у другого. Однако, получив таким путем женщину, счастливец, как правило, не может долго удержать ее. Она уходит к другому, а у покинутого любовника остаются долги, которые достаточно надежно привязывают его к компании.

Бакар один из многих. После каждой полочки он проигрывает весь свой заработок. Потом приходит просить аванс, а то не на что жить.

— А зачем ты так живешь? — спрашиваю я. — Сбрось эту ляжку, расчисти клочок земли, посея что-нибудь и выстрой себе дом!

— У меня нет жены, туан. Я не хочу торчать один в хижине. Сначала надо побольше заработать, чтобы жениться. Может, в следующую полочку выиграю сотню-другую.

И хотя цивилизация делает здесь еще только первые шаги, у нас уже есть, так сказать, свои кадры прочно привязанных к компании рабочих. Они не могут уйти, когда вздумается, их не пускают долги или женщины, которых им надо содержать. Джаин доволен. Считает, что дела идут на лад. Туан увидит, мы их научим жить, дай срок!

Да уж, мы их научим... Вырядаться в нелепую одежду. Обвязывать шею галстуком и вставлять золотые зубы. Обзаводиться все новыми и новыми так называемыми запросами и работать, работать, работать...

А еще, твердит Джаин, нам нужны китайские рабочие. Без них мы никогда не добьемся пяти тысяч. К тому же их легко обратить в неволю. Они употребляют опиум. Опиум привяжет их надежнее, чем что-либо другое. Рабы опиума станут нашими рабами. Это очень даже хорошо, считает Джаин. Ни он, ни я и никто из рабочих-малайцев не употребляют опиума, нас этой цепью не привяжешь. Джаин утверждает, что, снабжая китайцев опиумом, мы не только себе, но и им делаем услугу. Возможно, он и прав. Ведь воевали же англичане с китайцами, чтобы заставить их употреблять опиум. Так что, наверно, это очень хорошо, надо только взглянуть на дело с правильной стороны.

Да, все зависит от того, как посмотреть на дело... Если посмотреть правильно, то компания, которую я представляю, — истинный благодетель. Ведь мы даем нашим смуглым братьям возможность зарабатывать деньги, так что они могут удовлетворять свои запросы, становясь все более «высоко» развитыми людьми. А наших желтых братьев мы обеспечим не только заработком, но и опиумом, на который они смогут расходовать свой наработок.

Словом, к ним можно ключ подобрать. Иное дело даяки — с ними куда сложнее.

Даяки прибывают к нам группами по двадцати-тридцати человек. Всегда с вождем во главе и всегда с намерением заработать на швейную машину или на ружье. Собрав необходимую сумму, они сразу же возвращаются в родную деревню. Это даяки-бахаяу и даяки-каяны, большей частью из долины реки Булонган, свободные люди, твердо знающие, чего хотят; приветливые, веселые, радушные, одаренные, с развитым чувством юмора. Я отлично ладил с ними, когда жил среди них в их собственной стране. Сейчас они мне уже не так нравятся. У меня нет времени посидеть с ними у костра или в хижине и поболтать о подлинных ценностях жизни. Я вижу их только мельком, когда контролирую участки и ругаю за то, что они сделали мало. Еще больше я бранюсь, если они спустя несколько месяцев собираются ехать домой.

— Куда вы спешите, черт возьми? Вам плохо здесь? Или я слишком много платил вам, и вы уже успели разбогатеть? Оставайтесь хотя бы еще на месяц-другой!

— Нет, туан, нам пора возвращаться. Плохо жить так далеко от дома. И мы уже заработали на ружье нашему вождю.

Вспоминаю вождя по имени Аби. Рослый полный мужчина, энергичный квадратный подбородок, крепко сжатые тонкие губы, суровый взгляд из-под тяжелых век. Ему не нравилось на Нунукане. Он решил отправиться домой вместе со своими двадцатью даяками, не успев заработать на швейную машину.

Аби надоело видеть одно только море да редющие джунгли. Ему опостылела жизнь лесоруба. Он скучал по дому, жене, по посевам на берегу реки и голубеющим вершинам, где в ожидании его копья или нули бродили олеин и буйволы.

Он говорил об этом мне, говорил своим людям.

— Останься, вождь, пока не заработаешь, сколько задумал. Три месяца пробыл здесь, можешь пробыть еще столько же, — уговаривал я.

— Останься, вождь, — твердили его люди. — Что скажут женщины, если мы вернемся без швейной машины?

Они решили остаться. Но вождь ходил сумрачный. Зайдя как-то в хижину среди дня, я застал его там, погруженного в раздумье.

— Туан, отсюда до моего дома больше месяца пути. Это очень, очень далеко. Там, в горах, меня ждет жена. И мои родители, которые уже давно умерли, тоже ждут меня, еще выше в горах. Что мне делать здесь у моря? На что мне эта швейная машина? Я должен вернуться, туан. Поскорее. Надо придумать способ быстро вернуться в горы.

Боясь, что он уйдет со своими людьми, я на следующий день снова зашел в его хижину. Меня предупредили, что они уже приготовили лодку, чтобы переправиться на Борнео.

Войдя, я увидел вождя распростертым на полу. Он лежал лицом вверх, посередине груди зияла кровавая рана.

Со времени его смерти прошло уже несколько часов, он успел остыть, мышцы его отвердели. Маленький нож, которым вождь убил себя, он аккуратно воткнул на место, в стену. Кровавый след показывал, что он нанес себе смертельную рану в соседнем помещении, затем пришел сюда, лег и уснул последним сном перед тем, как отправиться вверх по реке к предкам.

Сначала я было подумал, что вождя убили. Но, вызвав его людей и поговорив с ними, понял, что это все-таки самоубийство.

Они бегом, один за другим, примчались к хижине и с воем бросились на землю возле тела своего предводителя.

У меня сердце обливалось кровью. Они напоминали маленьких детей, потерявших любимую мать.

— Зачем ты ушел от нас? — причитали они. — Почему ты нас не дождался? Кто будет теперь руководить нами, направлять нас? Кто поведет нас обратно в деревню? Мы не можем больше оставаться здесь. И мы не заработаем на швейную машину. Как нас примут дома, когда мы вернемся без тебя? Без швейной машины? Почему только ты не дождался нас?

Как сделать рабов из таких людей? Как связать крылья такому Аби, который готов призвать на помощь смерть, только бы освободиться? Как сделать из них «настоящих» рабочих? Как приобщить их к цивилизации?

Тело Аби покоится в земле Нунукана, в выдолбленном стволе. Но его свободная душа унеслась вверх по реке к лесистым вершинам, в обитель предков. Несколько месяцев спустя ушли и его растерянные соплеменники; им предстояло держать ответ в родной

деревне — почему они не последовали за своим
вождем.

Боевые товарищи Асао

Я до сих пор так и не знаю, чем объяснялась самоотверженная забота Асао о моей моторной лодке — преданностью мне или преклонением перед подвесным мотором марки «Пента»? Впрочем, возможно, тут играло роль и то и другое.

Когда мы ходили по мелководным рекам и винт оказывался в опасной близости от илистого дна, Асао выключал зажигание и лез за борт, чтобы перетащить лодку через мель. Любой моторист на его месте скорее пожертвовал бы и мотором и самой лодкой, чем сунуть ногу в эти мутные воды, убежище крокодилов.

Бригада таксаторов, заброшенная Асао вверх по реке, наслаждалась отдыхом у костра на суше, а он сидел один в лодке — боялся, как бы ее не перевернул крокодил или не разбило плывущее бревно. Какой еще индонезиец решился бы оставаться вот так наедине с комарами и собственными страхами?

Когда мы попадали в коварные буруны над прибрежными отмелями, Асао храбро сражался с волнами. Взвалив мотор на свои сильные плечи, он свободной рукой тащил кренящуюся, полную воды лодку. Другой давным-давно сдался бы, предоставив волнам расправляться с упрямой лодкой.

Я провел на Нунукане уже пять месяцев и сменил пять мотористов, когда встретил Асао. Никто из них не мог управлять мотором так, как мне этого хотелось, и, спровадив последнего, я решил, что отныне сам буду заниматься этим делом. Но тут появился Асао; вместе с мотором он занял прочное место во всех моих воспоминаниях о последующих пяти годах жизни в джунглях Нунукана.

Впервые я увидел Асао в Ментсапе — там находилась наша первая лесосека. Я проверял ход работы и целый день рыскал по джунглям, а когда под вечер вернулся к реке, по соседству с моей лодкой, ожидая меня, сидел рослый малаец. Усталый, потный и грязный, я с легкой досадой думал о предстоящем мне пятнадцатикилометровом пути домой при свежем ветре. Не так-то легко вести лодку, когда налетающая сзади волна все время норовит развернуть ее боком.

Два кули помогли мне спустить лодку на воду, и я занялся мотором, отдавая в то же время последние распоряжения начальнику участка, стоявшему на берегу.

Тут рослый малаец встал:

— Если туан хочет, я доведу лодку до Нунукана.

— А ты кто? Где работаешь — здесь, в Ментсапе?

Начальник участка ответил за него:

— Его зовут Асао. У нас работает его родственник, он приехал его проведать. Возьмите его с собой, туан! Он справится с мотором!

— Ну что ж! Попробуй! — ответил я.

«Небось, справится так же, как и все те „мотористы“, которые были до него», — думал я, направляя лодку в широкий пролив, где ходили нешуточные волны.

Асао молчит. Он сидит спиной ко мне, а я маневрирую — лево руля, право руля, лево, право, — стараясь удержать курс наперекор всем козням волн.

— Ты знаешь этот мотор, Асао?

— Я работал с «Джонсоном», туан. По этот, кажется, непохож на него.

— Кого ты возил?

— Одного геолога из нефтяной компании в Таракане. Много лет возил, туан.

— Садись-ка сюда и правь вон на тот мыс!

Асао без малейших колебаний берет за руль. Лодка виляет раз-другой, потом покоряется воле Асао и идет как по ниточке. Волны дыбятся и злобно фыркают белой пеной, возмущаясь легкостью, с какой Асао разгадывает их самые коварные уловки.

«А этот парень — хороший рулевой!» — думаю я и приглядываюсь к нему более внимательно.

На круглом лице Асао запечатлены солидность крестьянина и упрямство. Он необычайно силен и широк в кости для индонезийца. Кажется, мускулам рук и ног тесно под лоснящейся смуглой кожей. У него покатые широкие плечи, но в поясе и бедрах фигура заметно сужается, благодаря чему он выглядит стройным. Глаза прищурены — яркое солнце светит ему в лицо. Угрюмый он какой-то и, похоже, недалекий.

— Пока все в порядке, Асао.

И тотчас сумрачное, упрямое выражение сменяется широкой улыбкой. Между толстыми губами сверкают крепкие белые зубы, сощуренные глаза весело искрятся. Он оборачивается и бросает взгляд на волны, которые все более угрожающе нависают над тархтящим моторчиком.

— Этим курсом больше идти нельзя, туан. Надо прижаться к берегу. Не то «Джонсона» захлестнет волной!

— Это не «Джонсон», Асао, это «Пента»! Но вообще-то ты прав. Сворачивай к берегу, пока не поздно. А как мы пройдем мыс?

— К тому времени течение переменится, туан. Начнется прилив, и волны сразу станут меньше.

— Гляди-ка, да ты, оказывается, знаешь море, Асао!

Асао только улыбается. Возможно, он и говорит что-то. Вижу, как шевелятся его губы, но он, должно быть, нарочно говорит так тихо, что я не могу ничего разобрать сквозь шум мотора.

Мы причаливаем около моего бунгало на Нунукане; Асао снимает мотор, привычным движением взваливает его на плечи и несет в сарайчик, вернее в небольшую — два на два метра — хижину из пальмовых листьев.

— Я буду спать у «Джонсона», туан!

— Это не «Джонсон», Асао!

— В Таракане их зовут «Джонсонами», туан.

— Конечно, ты можешь спать у «Пенты», если хочешь. Но разве у тебя нет родственников или знакомых, у которых ты мог бы поселиться?

— Лучше я буду здесь, у «Джон...» — у «Пенты», туан. Я протру его завтра утром перед тем, как туан поедет.

— Хочешь пойти ко мне на службу, Асао? Стать мотористом?

— Я хотел бы попробовать, туан.

Когда наутро сразу после восхода солнца я собрался в путь, Асао уже ждал меня. Мотор сверкал, лодка была отмыта от масла и глины. Погода переменчивая, то дождь, то солнце, и я то на воде, то в джунглях — обычный рабочий день... Все участки располагались либо на берегу моря, либо вдоль рек, и связывал их только водный путь. Оказалось, что Асао не чужой в этих краях. Он знал каждую речку, каждый ручеек; мне достаточно было назвать место назначения, и он доставлял меня туда самым удобным и коротким путем.

Когда мы вечером вернулись домой, Асао сказал:

— Туан, у этой лодки слишком глубокая осадка. Я попробую раздобыть лодку получше. Она будет легче и идти будет быстрее.

Асао знал толк в лодках. Несколько дней спустя он привел даякскую пирогу. Узкая, заостренная и спереди и сзади, она резала воду, как нож. И притом была очень устойчива и надежна.

Асао немного переделал корму, установил мотор, и пирога стала ходить со скоростью двенадцати узлов.

Асао получал от меня двадцать пять гульденов в месяц. На этот заработок он мог вести роскошную жизнь, так как жил один, не играл в азартные игры и не увлекался девушками. За год у него образовался небольшой капитал, около двухсот гульденов. Тут и кончилось его беззаботное существование: он решил, что теперь можно семью завести.

Женился Асао на своей двоюродной сестре — женщине красивой, толстой и ленивой. Мать ее была даячка из Себуку; отец, как и отец Асао, наполовину буг, наполовину даяк.

Эта женщина — ее звали Бия — могла целый день просидеть на одном месте, жуя бетель и не произнося ни слова. Казалось, что ее большие черные глаза мечтательно устремлены вдаль. А приглядишься — какая там мечтательность, скорее она походила на ядовитую змею в засаде. Поймав Асао, она высасывала из него все деньги до последнего гроша. Только «Пента» и я мешали ей лишить его еще и разума.

Бия, разумеется, умела колдовать. Все жительницы долины Себуку знают, как поймать в свои сети мужчину и укротить его, сделать безвольной игрушкой. Смирись и будь послушным рабом, а воспротивишься — простись со своим рассудком.

Асао попытался выбрать нечто среднее. Когда он был с Бией, его душа и тело безраздельно принадлежали ей. Но стоило ему взяться за руль, как он тотчас забывал ее. Он мог путешествовать со мной по несколько суток, не думая о ной и не скучая по дому, хотя отлично знал, что недовольство Бии возрастает с

каждой минутой и дома его ждет грандиозный скандал. Пока Асао не видел жены, ее ворожба, как ни странно, совершенно не действовала на него.

Глядя, как жирная белая Бия молча сидит в углу хижины, устремив широкие зрачки на Асао, а тот суетится вокруг, готовит пищу и прислуживает ей, я невольно вспоминал большого спрута. Когда паши глаза случайно встречались, мне становилось жутко. У нее были фарфорово-холодные глаза гигантского моллюска, уверенного, что добыча уже не ускользнет. Асао напоминал мне в таких случаях маленькую рыбку, которая по сознает как следует грозящей ей опасности и мечется в пределах досягаемости извивающихся щупалец, загипнотизированная мутновато-голодным взглядом. И мне всегда хотелось поскорее увести его с собой.

— Пошли, Асао! Пора ехать на Себатик, отыскивать уплывшие бревна!

С каким трудом Асао вырывался из хижины! И какое облегчение было написано на его лице, когда мы, наконец, оказывались вдвоем в лодке!

Странная сила, которой была наделена Бия, действовала не только на Асао. Она влекла к себе всех мужчин. Где бы ни была Бия — в доме Асао или в какой-нибудь другой хижине, — около нее постоянно толклись мужчины. И ведь никто не мог сказать, что Бия как-либо поощряет его, никто не посмел бы обвинить ее в неверности Асао. Хотя я подозреваю, что она ему изменяла. Асао тоже так думал, но относился к этому безразлично. На Борнео существует поверье, будто женщины-колдуньи вроде Бии могут настолько прочно привязать к себе мужчину, что он прощает им даже измену. По-моему, это так называемое колдовство есть не что иное, как суеверие, а не суеверие — так самовнушение со стороны мужчины. Он верит, что женщина околдовала его, и оказывается в ее власти.

Загадочная сила Бии заключалась в том, что она, сама оставаясь холодной, вызывала у мужчин сильное вожделение; вот у нее и сложилось убеждение, что она может делать с мужчинами все, что ей заблагорассудится.

Когда Асао, голодный и уставший, приходит вечером и свою хижину, его там не ждет обед. Если Бия дома, она спит; но чаще всего она сидит у других подобных ей женщин и проигрывает в кости или в карты деньги Асао. Он должен сам разводить огонь и варить себе рис. Зато когда обед сварится, Бия, если она дома, сразу оживает и помогает управиться с едой. Самой ей готовить лень, будет сидеть голодная, пока не вернется Асао, в лучшем случае перехватит что-нибудь у подруг.

Если бы речь шла только о Бие, Асао еще хватило бы двадцати пяти гульденов. Но на его хижину, словно саранча, совершала налеты родня Бии. Не успеет отчалить лодка, набитая дорогими родственниками, как из долины Себуку уже прибывает новый отряд. Родственники решили устроить себе легкую жизнь за счет богатого мужа Бии. Вот почему Асао не хватало его денег и до середины месяца; приходилось занимать, чтобы не ходить голодным.

Понятно, кроме меня, занять ему было не у кого. Он начал с десятки, которую обещал вернуть в первую же получку. И своевременно отдал ее, но на завтра занял две десятки, снова до получки.

Потом Асао начал сочинять истории, чтобы убедить / меня дать ему в долг более крупные суммы. То у него умер родственник и нужно было помочь с похоронами, то какому-то больному грозила смерть, если Асао не раздобудет дорогое лекарство или заплатит шаману, то он по дороге домой в толкучке потерял только что полученный заработок, а то Бия уже на второй день после получки проиграла все деньги. Асао заверял, что

это никогда не повторится, клялся, что избил Бию до бесчувствия. Но я-то хорошо знал, что он никогда не решится задать жене давно заслуженную ею трепку. Он не смел слова сказать даже тогда, когда она действительно проигрывала все деньги и они сидели без зернышка риса.

Случалось, для разнообразия Асао сочинял более замысловатые истории. Однажды он рассказал, что кто-то из родичей занял у них десять гульденов и оставил в залог золотой браслет. И вот теперь этот родственник пришел и потребовал браслет обратно. Но к этому времени Асао сам успел заложить безделушку ростовщику за тридцать гульденов. Не буду ли я так добр одолжить ему эту сумму, чтобы он мог вернуть браслет и ему не надо было краснеть перед родственниками?

— Зачем тебе тридцать, Асао? Ты ведь получишь обратно десятку, когда вернешь браслет!

— Так он мне еще не отдал деньги... Потом, когда я их получу, я возвращу туану десять гульденов.

Асао получил от меня тридцать гульденов; некоторое время я ничего не слышал об этом деле. Мы вместе обследовали участки, разыскивали уплывший лес, ходили на ночную охоту. Поджидая меня где-нибудь на берегу, Асао ловил рыбу и крабов и варил из моего риса гарнир к своему улову. Во время охоты он помогал нести через окутанные мраком джунгли убитого оленя. Когда мы были с ним на море или в джунглях, Бия, долги и все прочее как бы не существовали.

Но вот снова наступил день получки, и Асао пришел отдать часть долга, который к этому времени перевалил за сто гульденов.

— Я принес двадцать пять гульденов, туан! Возьмите их.

— Но ведь тебе не на что будет жить!

— Туан! Если я верну сейчас двадцать пять гульденов, мне придется занять у туана пятьдесят. А если ничего не верну, мне надо будет занимать только двадцать пять. Ведь что получилось. Я потерял тот браслет, который выкупил в прошлом месяце. Как раз шел отдать его. Видимо, в кармане была дыра... Теперь мой родственник грозит подать на меня в суд, если я не заплачу ему стоимость браслета. А он оценивает его в тридцать гульденов!

— Но ведь ты можешь вычесть те десять, которые он уже получил под залог браслета?

— Могу, конечно... Тогда мне, пожалуй, хватит и сорока пяти, если туан даст...

* * *

В следующем месяце Асао рассказал, что у Бии был выкидыш и пришлось посулить двадцать гульденов дукуну^[9], чтобы тот вылечил ее. Разумеется, Асао уже накопил эти двадцать гульденов, но, когда он повез деньги дукуну, его лодчонка перевернулась у самого берега Себатика. Он упал в воду, и двадцать гульденов намокли. Но он не потерял их, нет! Борясь с волнами, он все время только и думал о том, как спасти деньги. Была уже ночь, когда он выбрался на берег, пробился сквозь мангровый лес и разыскал рыбачью хижину. Прежде всего надо было высушить намокшие деньги. Вдруг как назло налетел порыв ветра и швырнул их прямо в огонь!

Эта история показалась мне настолько хитроумной и необычной, что я без слов выдал Асао двадцать пять гульденов. И он ушел сияющий, очень довольный тем, что я оценил его выдумку.

Вскоре после очередной получки Асао поздно вечером пришел к моему бунгалу. Стал в глухой тени около лестницы и необычайно озабоченным голосом произнес:

— Туан не одолжит мне двадцать пять гульденов?

— Не знаю. А на что они тебе? Ты же получил получку позавчера, и я у тебя ничего не вычел в счет долга.

Если ему так нужны деньги, пусть сочинит еще что-нибудь у него достаточно богатая фантазия!

— Туан ведь отпустил меня вчера в Танах Мерах за братом и его семьей...

Верно, отпуская. Начало звучит вполне правдоподобно.

— Посадил я их всех в лодку — брата, его жену и их малыша... Только пошли мы через Сембаконг, как начался шторм, туан. Он нас задержал, и уже темнело, когда мы добрались до Леолантая. Там вода была спокойнее. Идем по реке. С полчаса шли, вдруг лодка обо что-то стукнулась носом. Брат привстал, хотел посмотреть, думал, мы на мель наскочили. А тут вода как забурлит, возле самой лодки вынырнул огромный крокодил и хвостом сбил брата прямо в реку. Потом ударил лодку — раз, два, она перевернулась и развалилась. Дальше я ничего не помню, туан. Кое-как удалось мне выбраться на берег. Там я залез на пальму и просидел на ней до рассвета, словно обезьяна. А брат, его жена и малыш — все исчезли... Утром, на мое счастье, подошла другая лодка из Танах Мерах, и мы долго их искали, но никого не нашли. Теперь мне нужно заплатить за панихиду, потом надо справить поминки...

— Постой, Асао! Ты тут столько всего напридумал, это уж чересчур! Берегись, не то в самом деле накликаешь беду. Такими вещами не шутят!

Я не вижу в темноте выражения лица Асао, слышу только, как он смущенно переступает с ноги на ногу.

— Но это правда, туан! Все до последнего слова!

— Ладно, держи двадцать пять гульденов, но в следующий раз придумай что-нибудь более правдоподобное!

Асао молча исчезает с деньгами. Я смеюсь: ну и кровожадная фантазия! Что еще преподнесет он мне? И вообще, что за охота сочинять истории всякий раз, когда ему нужны деньги, чтобы накормить Бию и ее родичей? Впрочем, так интереснее. И лучше для наших взаимоотношений.

А на другое утро я узнал от Джаина, что Асао рассказал мне чистую правду. Его в самом деле подобрали в Леолантае, обнаружили и разбитую лодку; сегодня туда отправилась экспедиция на розыски погибших.

Так действительность, можно сказать, затмила фантазию Асао...

Джарджа

Аванг сказал мне, что его жена при смерти, когда уже было поздно что-либо предпринимать. Вечерело. По пути ко мне он предупредил Асао, и тот приготовил лодку. Солнце спряталось в море, и с гор на востоке спускалась ночь. Со скоростью десяти узлов мы помчались по отливающему чернью водному зеркалу.

Я знал, что Джарджа ждет ребенка. Неделю назад Аванг взял отпуск, чтобы ухаживать за ней. Они по-прежнему жили в Ментсапе, где начиналась первая битва с джунглями.

— Что, Аванг, ей очень плохо? — спрашиваю я; мне так хочется услышать успокоительный ответ.

Аванг молча всматривается в сгущающийся сумрак, следя за тем, чтобы мы не наскочили на бревно, не разбили лодку.

Веселый, беспечный Аванг! Никогда я не видел его таким суровым, как сейчас. Аллах, помоги Джардже! Пощади ее. Возьми взамен кого-нибудь еще. Каждый день смерть пожинает в джунглях такой обильный урожай, но разве кто-нибудь идет в сравнение с Джарджей! Это она, когда джунгли почти подчинили нас своей власти, навязали нам свои жестокие законы, заставила нас вспомнить, что мы — люди. Джарджа — единственная, против кого джунгли оказались бессильными.

Асао заглушает мотор, лодка причаливает к берегу у пристани. Здесь стоит старший сын Аванга; он плачет. Хватает отца за руку и тащит за собой. Я спешу следом за ними, освещая фонарем извивающуюся среди колючих кустарников тропинку.

Пришли... По глазам Джарджи сразу видно, что она на пути в то царство мертвых, которое рисует ей ее

вера. Я достаточно часто видел этот взгляд у моих товарищей на Нунукане, ставших добычей смерти.

Обычно я равнодушен к смерти; здесь, в джунглях, она идет рука об руку с жизнью. Но это другое дело.! Джарджа из другого мира. Джарджа — человек.

— Ребенок лежал неправильно, туан, — объясняет старый Дулла. — Я еще вчера им говорил, чтобы позвали туана. Они не верили, что это так опасно. А теперь поздно.

— Ребенок был мертвый, когда нам удалось вытащить его. Уже под утро... — всхлипывает Аванг.

Пытаюсь нащупать пульс у Джарджи. Она силится улыбнуться. Пульса нет. Руки ледяные, зато грудь пылает жаром.

Делаю ей укол камфары. Но разве камфара может отнять Джарджу у смерти? Небольшая отсрочка, только и всего...

— Что будет с Авангом, — шепчет Джарджа, — и с детьми...

«А что будет со всеми нами здесь, в джунглях», — думаю я. Страшное чувство безнадежности овладевает мной: вот и Джарджа раздавлена, словно жалкий муравей.

— Вскипяти воду, завари кофе, — шепчет Джарджа своей восьмилетней дочери.

Вздрагивая от рыданий, девочка подчиняется. Слезы каплют в чашки, которые она ставит перед нами на земляной пол.

Мы пьем кофе.

Никогда не забуду эту чашку кофе. Никто из нас не вымолвил ни слова. Никто не решился отказаться.

Сын Аванга плакал за дверью. Дочь зарылась головой в подушку Джарджи. Когда мы кончили пить, Джарджа, глубоко вздохнув, навсегда ушла от нас.

Окаянные джунгли! Не смогли одолеть дух Джарджи, так взяли ее тело.

Мы снесли Джарджу к лодке — я, старый Дулла и наполовину обезумевший Аванг. Двое маленьких сирот сели возле мертвой матери. Лил дождь, и мы прикрыли всех троих брезентом. Решили доставить Джарджу в деревню, чтобы похоронить ее в освященной земле.

* * *

Утро заливает землю ослепительным светом. Мы добрались до места, и сразу у меня оказывается столько дел, что я даже не могу присутствовать на похоронах. Мне докладывают, что на том конце острова унесло водой бревна. Нужно немедленно спешить туда с буксиром, разыскивать и собирать лес. Тут уж не до похорон. Работа прежде всего — таков закон Запада.

Не знаю, понимает ли меня Аванг или считает бесчувственным кретином. Когда я, измотанный, под вечер возвращаюсь, Аванга нет. От Дуллы узнаю, что он отправился в Тавао.

— Здесь он сошел бы с ума, — говорит Дулла.

Ему необходимо было уехать, чтобы забыться. Детей он оставил у своих друзей.

Через три месяца Аванг вернулся из Тавао, худой, изможденный, проиграв все, что имел. Он забрал к себе детей и сказал, что снова готов работать у меня.

Аванг бросил игру, от его беспечности и жизнерадостности не осталось и следа. Вопреки обычаям своей страны, своего народа он не женился больше.

Сари

В первое время на Нунукане у меня был слуга-малаец. Позднее, построив себе настоящий дом, я нанял в поварихи старую яванку и договорился с женой одного из плотников, что она будет помогать с уборкой.

Обе они никак не могли понять, почему я не найду себе женщину, которая вела бы мое хозяйство и заменяла мне жену. Они всячески уговаривали меня обзавестись коричневой экономкой, раз уж я не хочу жениться на женщине своего племени.

Но мне ничуть не хотелось следовать их совету; я нагляделся на коричневых экономок в городе нефти Таракане и не испытывал к ним ни малейшей симпатии. Женщины эти были падки до развлечений и легко изменяли — то ли вследствие соответствующего поведения своих повелителей, то ли из-за собственного переменчивого права.

Зачем вступать в связь с женщиной, с которой нельзя ни на минуту глаз спустить. Достаточно я нагляделся, каково приходится гордым обладателям женщин здесь, на Нунукане!

У меня были другие планы, но я не собирался посвящать в них повариху. Пусть разгадывает сама.

Не знаю, пыталась ли она их разгадать, но во всяком случае она сумела опрокинуть все мои планы.

Возвратясь после очередного тяжелого дня из джунглей, я обнаружил у себя на веранде миловидную девушку, которая подрубала простыни. При виде меня она робко улыбнулась и продолжала шить.

— Кто это? — спросил я Иссу, повариху.

— А... это так, девушка одна, Сари. Она приехала из Таракана с последним пароходом. Я попросила ее сшить несколько наволочек и подрубить простыни. Пусть

работает здесь, в доме. А то если возьмет простыни с собой в деревню, они могут и не вернуться.

— Хорошо, пусть шьет!

В тот вечер я больше не думал об этой девушке. И еще два дня не думал. Но на третий день, намечая трассу для железной дороги между Нунуканом и Ментсапой, я почему-то часто вспоминал улыбку Сари и задавал себе вопрос, замужем ли она.

— Она замужем, Исса? — спросил я, придя домой.

— Нет, туан, ее муж умер не так давно. Она не хочет больше замуж, хочет вернуться к своим на Яву.

Вечером Сари работала до тех пор, пока Исса, собравшись идти домой в деревню, не зашла за ней. Я сел так, чтобы видеть Сари. В свете электрической лампочки я разглядел, что она хороша собой, что у нее светлая кожа, стройная фигура, ножные округлые плечи.

Весь следующий день я думал об этих плечах, о ее шелковистой коже.

Сари уже около недели работала в моем доме и, когда я здоровался с ней, отвечала мне открытой, приветливой улыбкой.

Но вот снова вечер, а Сари нет на ее обычном месте. Я сижу один на просторной веранде, и на душе у меня пусто. Из кухни доносятся голоса Сари и Иссы. Тихо шелестят пальмы. Ночь звездная, темная.

Я вышел и спустился к пристани. Голова кружилась от жарких мыслей.

Возвращаясь к дому, я встретил Иссу и Сари. Они направлялись в деревню, до которой от моего дома было с полкилометра.

Я остановился. Они тоже.

— Уже уходите?

— Да, туан, нам пора домой... — ответила Исса и хихикнула.

— Домой, значит... Сари... А Сари не останется?.. Со мной...

Сари молчит потупившись. Исса торопливо отвечает за нее:

— Конечно, туан, конечно, останется. Ну, до свидания, Сари. Я пойду, мне надо спешить.

Исса поспешно уходит. Мы с Сари остаемся вдвоем. Молчим.

Оба одинаково смущены. Что он задумал? Что у нее на уме?

Беру ее за руку. Рука маленькая, мягкая, нежная. Но, кажется, сильная и надежная... Сари идет за мной в дом.

Я не знал, кто Сари: девушка легкого поведения, жена, бросившая мужа, бывшая экономка или в самом деле молодая вдова, как мне сказала Исса. Не знал, да и не раздумывал над этим. В тот миг я знал только одно: она горяча, как огонь, и я от нее без ума. С ней я забыл обо всем. Ее волосы пахли магнолией, у нее были мягкие губы. Она пошла со мной и осталась у меня.

Нет, это была не любовь. Во всяком случае не цивилизованная любовь. Это была бурная вспышка хмельной, дикой страсти. Лишь много позднее у меня родилась настоящая привязанность к Сари.

Правильно говорила Сари: мы были без ума друг от друга. Можно бранить Иссу, можно хвалить, но устроила это она.

Исса предложила Сари приехать в Нунукан и стать экономкой белого господина. Сари возмущенно ответила: пет. Никогда в жизни она не будет экономкой белого мужчины. К тому же не прошло еще и полгода, как умер ее муж. Она была сунданка и решила вернуться на родину, как только скопит денег на билет.

— Ну ладно, — ответила Исса. — Тогда приезжай и помоги с шитьем, как раз заработаешь на билет.

Что ж, против этого Сари нечего было возразить. И она приехала.

Я отказался взять экономку. Но я не догадался запретить приходиться маленькой швее.

Черт возьми, до чего же хитра эта Исса! И как хорошо она знает нас, мужчин, и наши слабости.

Конечно, Исса неспроста затеяла все это. Она рассчитывала и для себя извлечь кое-какую выгоду. Надеялась, что Сари приобретет большую власть и они все заживут припеваючи за счет белого мужчины.

Сари в самом деле приобрела большую власть. Но вышло так, что она оказалась на стороне белого мужчины. Обнаружив, что Исса ворует из кладовой, она раз-другой предупредила ее, потом выгнала.

И я понял, что Сари во всяком случае не легкомысленная содержанка.

* * *

Счастье, которое Сари могла обрести со мной, было весьма скромным и ненадежным. Слишком много было помех. Чрезмерное самомнение и предрассудки с моей стороны, Недоверчивость и неумение понять меня — с ее. Ведь она была всего-навсего темнокожей любовницей и мне полагалось стыдиться такой связи перед другими белыми. Я не мог брать ее с собой, когда меня приглашали на борт капитаны судов, приходивших за лесом на Нунокан. И когда я в свою очередь принимал белых гостей с пароходов или из Таракана, Сари приходилось смиренно держаться в тени. У меня не хватало мужества порвать с условностями и открыто признать Сари своей женой. Я считал наши отношения временными и ждал, что она в один прекрасный день

уйдет. Я не задумывался, огорчит меня это или нет. Такова судьба всех темнокожих экономок, я слышал об этом сотни раз, да и сам не раз видел. Их использовали, куда они бывали нужны, потом расставались с ними. Некоторые уходили сами, не дожидаясь, пока их прогонят. Сари тоже поначалу не рассчитывала долго жить со мной. Она не хуже меня понимала неизбежность разлуки. Собственно, ведь она никогда и не помышляла о том, чтобы стать моей. Нас свели обстоятельства. А потом она, по ее словам, «влюбилась до потери сознания». Это было совсем некстати. Поэтому она не могла уйти, как ни стыдно ей было жить в доме белого язычника. В глазах любого правоверного мусульманина она безвозвратно погибла. Вынужденная к тому же наблюдать, как любимый принимает у себя белых женщин, смеется, разговаривает с ними, а может быть делает без ее ведома кое-что и похуже, Сари порой приходила в такое отчаяние, что могла с горя проплакать целую ночь напролет. Но она ни разу не осмелилась сказать мне о причине своих слез. Я узнал все много времени спустя.

Будь наша совместная жизнь ограничена ночами в моем доме, ей скоро пришел бы конец. Но Сари сопровождала меня также в поездках по рекам и на другие острова, ходила со мной на ночную охоту и в долгие утомительные походы по джунглям. Мы вместе любовались красивейшими закатами на море. Вместе смотрели, как над мангровыми зарослями курится вечерний туман, и нам чудились в нем таинственные существа, которые выходят на землю с сумерками. Слушали, как трубят слоны в горах Борнео. Смотрели даякские танцы с саблями в глухих деревнях, где Сари оказывали королевские почести. Мы спали на одном ложе из веток под открытым небом джунглей и прижимались друг к другу, когда бушевала гроза, оглушая нас громом, слепя молниями, валя деревья,

проливая на землю лавины воды, словом — давая нам почувствовать все могущество стихий. Сари видела, как сверкают в свете фонаря глаза оленя, настигнутого после упорного преследования. Слышала звук выстрела, от которого потухали эти глаза. В страхе задерживала дыхание, когда пятнистая пантера стояла в нескольких метрах от нас. И плакала от жалости, когда я убил дикую свинью и крохотные испуганные осиротевшие поросята уткнулись пяточками в кусты. А когда я уходил к рабочим на лесосеки, Сари обычно ждала меня в лодке и сочиняла длинные любовные стихи в мою честь, потом пела их мне.

Только благодаря этим дням и ночам в джунглях Сари не ушла от меня. В джунглях мы были по-настоящему близки друг другу, но боялись быть искренними. Поэтому в джунглях мы были счастливы.

Мы вели двойную жизнь. Стоило нам оказаться дома на Нунукане, как Сари опять превращалась в униженную любовницу, а я в высокомерного, тупого белого мужчину. Вечером, когда мы ложились, Сари любила рассказывать обо всем, что случилось в джунглях во время нашего последнего похода. Она могла снова и снова вспоминать одно и то же, каждый раз в точности воспроизводя, что сказал тот или иной человек. Как и все малайцы, она обладала феноменальной памятью. Мне нравилось, когда Сари меня убаюкивала, но тогда я так и не догадался, что, рассказывая, она но столь остро чувствовала двусмысленность своего положения.

Я отлично понимал, что ломаю ей жизнь, ломаю, может быть, навсегда, и все во имя собственного мимолетного удовольствия. Она была «только туземка», это давало мне право так поступать. Во всяком случае так было принято среди белых. Моя собственная жизнь значила бесконечно больше, чем жизнь какой-то маленькой туземной женщины. Так мнилось мне, хотя

джунгли порой нашептывали, что дело обстоит как раз наоборот.

Дулла не скрывал своего взгляда на мои отношения с Сари. Он сопутствовал нам во всех наших походах, во всяком случае, покуда мы странствовали по воде; бродить в джунглях Дулла отказывался, считая себя слишком старым. Строго говоря, он не выполнял никакой работы, но я не мог представить себе лодочной прогулки без нашего ведуна или костра без его нескончаемых рассказов.

— Тебе хорошо, Сари, нашла себе туана, который балует тебя без меры, — начинал обычно Дулла очередную перепалку с Сари.

Старик пользовался славой человека, который не боится говорить правду кому угодно и о ком угодно. Я хорошо знал это и, нанимая нового работника, всегда звал в советчики Дуллу. Если он знал об этом человеке что-нибудь плохое, то не стеснялся сказать прямо в глаза. Впрочем, иногда Дулла говорил вещи, далекие от так называемой истины: старик был не прочь подшутить.

— Ты, конечно, останешься с туаном, пока не накопишь золота и нарядов. Потом сбежишь и уедешь домой на Яву. Все яванки такие. А до чего они ленивы! Выть экономкой у белого мужчины — это как раз для них. Нет уж, даячки куда лучше! Верные, трудолюбивые.

— Сколько раз тебе повторять, что я не яванка! — кипятится Сари. — Я сунданка. А если ты будешь ругать сунданок, старик, я сделаю так, что тебя заберет сам сатана!

Дулла раскатисто хохочет, показывая единственный зуб. Последнее слово всегда останется за ним.

Джаин смотрел на дело серьезнее. Он хорошо относился и ко мне и к Сари, однако осуждал нашу любовь. Мне-то он ничего не говорил, но когда Сари

однажды со слезами спросила его, что ей делать, туан заигрывает чуть ли не с каждой белой женщиной, которые приплывают на парходах, он посоветовал ей уходить, если у нее осталось еще что-нибудь в голове.

— Если ты не знаешь никакого колдовства, чтобы привязать к себе туана, брось его. Тебе же известно, к чему приводит связь с белым язычником. Не забывай, Сари, мы — мусульмане. Стоит ли жертвовать спасением души ради нескольких беспечных дней? Туан, конечно, неплохой человек, по ведь он белый и иначе вести себя но может.

— Да-да, я уеду. При первой возможности. Может быть даже со следующим парходом.

Но когда пришел следующий парход, мы с Сари путешествовали в верховьях Сембаконга и были совершенно счастливы. И лишь много позднее она передала мне слова Джаина.

Как раз во время этого похода по Сембаконгу я впервые увидел, что Сари умеет мгновенно оценить обстановку и способна проявить настоящее, беззаветное мужество.

На этой реке у деревни Менсалонг валили лес, и я отправился туда проверить, как идет работа, не пора ли начинать сплав.

С заготовкой леса все обстояло благополучно, но накануне нашего приезда исчезли два человека. Их тщетно разыскивали всю ночь и весь день. Были все основания опасаться беды.

Бригада лесорубов насчитывала около полусотни макассарцев, яванцев и жителей тараканского побережья. Исчез один яванец и один макассарец. У яванца была жена, которая теперь ждала его в лагере. Поговаривали, что макассарец не раз приставал к ней.

Старая, обычная, хорошо знакомая история: двадцать мужчин и одна женщина — и беззаконие джунглей. Страсть, ревность, ненависть, злые слова и

оттачивание ножей. А когда женщина к тому же недурна собой и сама заглядывается на мужчин, было бы даже удивительно, если бы где-нибудь в зарослях не пролилась человеческая кровь.

Я сам отлично знал, какие страсти и буйные мысли может вызвать присутствие такой женщины в лесном лагере. Тут и убийство-то трудно грехом назвать. И если бы пропал один человек, я не стал бы особенно беспокоиться. Однако исчезли двое, а это осложняло вопрос. Пусть даже оба убиты, но если один из них бродит кругом, не решаясь пока вернуться, можно ждать чего угодно. Несколько одиноких ночей в джунглях да еще с убийством на совести, — этого никакие нервы не выдержат.

Скорее всего оставшийся в живых явится в лагерь. Не так-то просто добраться в одиночку до Таракана. Для этого нужно раздобыть лодку и провиант; ведь от лагеря несколько дней пути до побережья. Придет убийца — жди новой беды. Особенно если это оскорбленный муж. Правда, яванка еще не выбрала себе другого покровителя, но долго ждать она не будет. А чтобы на малайца нашло буйное помешательство, истерзанных кровавой стычкой нервов и двух страшных ночей в джунглях больше чем достаточно.

Сари с интересом разглядывала яванку, из-за которой разгорелись такие страсти.

— Я говорила Кариму, будут неприятности, если он возьмет меня с собой, — рассказывала та. — Но он не решился оставить меня в Таракане. Там все мужчины бешеные. И вообще мужчины всегда сходят с ума но мне. Мой прежний муж сидит в тараканской тюрьме, хотел заколоть одного, который посмотрел на меня.

У нее резкий голос, смеется она жестко и деланно.

— А! От нас самих зависит вести себя так, чтобы мужчины не дрались из-за нас, — важно произносит Сари.

Все это верно, будь обстановка другая. Но Сари еще не жила в лесном лагере, и она говорит мне, что по этой яванке сразу видно, какая она потаскуха.

Я позаботился выставить надежную охрану на ночь. Приказываю начальнику лагеря: если вернется кто-нибудь из пропавших, его нужно немедленно схватить, а будет сопротивляться — связать по рукам и ногам. Охранниками назначили самых сильных, вооружив их парангами. Сам я отправился на охоту.

В лагере в это время гостили несколько даяков, которые поднимались на своей пироге вверх по реке. Они пошли со мной. Сари тоже предпочла пойти с нами, чем ждать в лагере с его напряженной атмосферой.

Движемся по реке. Я сижу на носу лодки, прикрепив фонарь себе на лоб. Уже на первой прибрежной поляне слышим троекратный громкий крик оленя.

Я не знаю другого звука, который заставил бы сердце охотника биться с такой силой. Кровь стучит в висках, руки сжимают ружье. Конус света рыщет по зарослям.

Однако с лодки мне не удастся обнаружить отсвечивающих глаз. Тогда я выхожу на берег и углубляюсь в кустарник. Сари следует за мной. Скоро мы оказываемся в таких густых зарослях, что кругом ничего не видно.

Вдруг крик олеин всего в нескольких шагах впереди нас. Треск кустарника говорит о том, что он поворачивается, чтобы бежать. Что это? Да их тут, кажется, два, но, хотя они ломаются сквозь кусты где-то совсем рядом, в этой гуще я ничего не могу разглядеть. Мелькнули зеленые глаза! Вскидываю ружье и посылаю вдогонку заряд волчьей картечи. Слышно тяжелое падение и хрип. Скорее туда!

На земле лежит огромный олень. Его красивые рога привели Сари в восторг. Я решил, что она от радости

скачет на одной ноге, но ошибся. Сари, продираясь сквозь заросли, наступила на большую колючку...

Эту колючку Сари, наверно, никогда не забудет. Из-за нее она осталась в лодке, когда мы несколько выше по реке опять вышли на берег выслеживать оленей. Вместе с даяками я двинулся по известной им старой тропе, которая вела к заброшенной расчистке в джунглях.

Одиночество Сари скрашивал небольшой фонарь, а чтобы не было страшно, она напевала про себя песенку.

Просидев так в лодке с четверть часа, она услышала, как кто-то пробирается сквозь кусты к берегу. Сначала подумала, что это я возвращаюсь, но, не видя моего фонаря, забеспокоилась. Может быть, олень? А вдруг медведь... «Отвяжу-ка я лодку и оттолкну от берега», — сказала себе Сари. Но тут послышался голос, и на свет вышел какой-то человек. Он замер на месте и уставился на нее. Сколько он так стоял, Сари не знает. Наконец пришелец забормотал что-то по-явански.

Сари умела говорить на этом языке.

— Ты кто? — спросила она.

— Нет, ты не Тина. Я думал, это Тина разыскивает меня. Я хочу что-то показать Тине. Я так для нее постарался! Это Аллах помог мне. Аллах мне помогает, потому что я всегда молюсь ему. Аллах! О Аллах, лаиллах-аиллалах!

У него были такие страшные глаза, что Сари оцепенела от ужаса. Она сразу поняла, что перед ней стоит пропавший яванец. Было очевидно, что он не в своем уме. В довершение ко всему она увидела у него в руке нож.

Ей хотелось закричать. Сари боялась, что сейчас сама потеряет рассудок. Внутри у нее все сжалось, она покрылась гусиной кожей. Не иначе этот сумасшедший пришел убить ее...

И вдруг Сари словно окатило ледяным душем. Буря в мозгу улеглась, сознание прояснилось. Будто кто-то другой внезапно вошел в ее тело и безраздельно подчинил его себе.

— Почему ты не идешь спать, Карим? — сказала на. — Ведь уже ночь.

— Я сейчас лягу. Только сначала я должен тебе показать. Пошли!

— Мне надо стеречь лодку. Я не могу уйти.

— Лодку? Лодку?.. Ты пойдешь со мной!

— Не могу.

— Идем!

Он протянул руку в ее сторону.

Хотя Сари за секунду до того ни за что на свете не решилась бы сдвинуться с места, она поднялась, спокойно вылезла из лодки, взяла фонарь и последовала за Каримом.

Они вошли в прибрежные кусты. Боль в ноге забыта. Сари ощущает только непонятное холодное спокойствие.

То, что она увидела, пройдя несколько десятков метров, не произвело на нее в ту минуту никакого впечатления. Потом ей делалось дурно от одного воспоминания.

На суку висел труп исчезнувшего макассарца. Живот вспорот, внутренности вывалились наружу, голое окровавленное тело исколото ножом. Страшное зрелище... Сари не сомневалась, что ее настоящее «я» упало бы в обморок от страха.

— Правда, здорово? — говорил Карим. — Видишь, какой Халим красивый. Это я сделал. Вот обрадуется Тина, когда увидит его! Я могу еще сделать таких для нее, сколько захочет! А ведь он сам повесился. Испугался меня.

Карим вонзает нож в свою жертву.

— Ребята уже приходили сюда посмотреть на него. И все говорят, что я правильно сделал. А ты что скажешь?

— Конечно, Карим, ты сделал правильно. А теперь пойдем за Тиной, пусть она тоже посмотрит.

— Да-да. Хорошо, что ты пришла. Один я не найду дороги в темноте. И потом я не знал...

— Мы поплывем на лодке, Карим. Нельзя идти через джунгли ночью. Вот так, садись первый. Я отвяжу лодку. Бери весло, я не умею грести... Дай-ка мне твой нож, Карим. Придется перерезать веревку. Никак не могу развязать.

Карим послушно отдает Сари нож. Она сразу же чувствует себя бодрее, однако тут сверхъестественное спокойствие начинает оставлять ее. Она делает вид, будто пилит ножом веревку, а сама все время говорит, говорит с Каримом. Потом Сари не могла вспомнить, о чем она говорила и сколько все это длилось. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она, наконец, увидела в кустах свет моего фонаря.

— Карим, сиди тихо. Сюда идут люди. Это к тебе, наверно...

— Нет-нет! — кричит Карим. Он вскакивает на ноги и хочет выпрыгнуть из лодки. На него опять нашло буйство.

Но теперь Сари уже не боится.

— Назад! — кричит она. — Назад! Перевернешь лодку!

Карим подчиняется и несколько секунд стоит неподвижно. Тут подоспеваю я.

— Вот Карим, а вот его нож, которым он убил Халима, — говорит мне Сари.

Кажется, Карим приготовился дать нам отпор. Мы с даяками бросаемся на него. Всю дорогу до лагеря даяки держали его на дне лодки. Когда мы доехали, Карим был в таком исступлении, что пришлось связать его.

Несколько дней спустя Карима отправили в Таракан. Сари не считала свой поступок подвигом. Она понимала, что мгновенный прилив храбрости еще не дает ей повода кичиться. Просто Аллах помог ей в трудную минуту.

Позже мы узнали, что Карима лечили в больнице. Разум постепенно возвращался к нему, но он так ничего и не вспомнил из того, что натворил в приступе буйного помешательства.

Счастливый Карим!..

Зато Сари, наверно, никогда не забудет эту ночь.

Ибаны

Граница между северной, английской частью Борнео и голландским Борнео проходит чуть севернее Нунукана, деля пополам остров Себатик. Так что всего несколько морских миль отделяют меня от английской территории. Еще дальше вдоль побережья, в двадцати милях к северу лежит маленький городок Тавао. До него гораздо ближе, чем до города нефти Таракана.

В первый год на Нунукане я раз в два месяца бывал в Тавао. Затем эти визиты стали более редкими. Дел у меня там почти никаких не было, поскольку все равно приходилось регулярно бывать в Таракане. В Тавао я ездил скорее поразвлечься.

Тавао лежит в глубине отороченного пальмами голубого залива. Маленький пирс заканчивается внушительной красной коробкой пакгауза. А в начале пирса стоит самое большое здание Тавао, в нем ратуша, почта, банк, контора резидента^[10] и полицейское управление. Вокруг дома расстилались английские зеленые газоны, окаймленные живой изгородью с ярко-красными цветами. Перед зданием — высокий флагшток с английским флагом, у ворот стоит полицейский с винтовкой и шашкой. Под крышей из пальмовых листьев всего один этаж, тем не менее дом кажется внушительным и изысканным. Видимо, осознает, что служит резиденцией верховной власти и администрации Северного Борнео.

Кокосовые пальмы простирают свои листья над всеми домами Тавао; здесь же они почтительно расступились, освободив место для правительственного здания с его газонами и полицейским.

Направо от ратуши раскинулась китайская часть города: несколько десятков лавочек и ресторанов,

небольшие лодочные верфи, рынок, ремесленные мастерские. И над всем этим высятся пальмы.

Налево — европейская часть. Здесь дом резидента, окруженный приличествующими сану хозяина садами и газонами; так называемый рестхауз — нечто вроде гостиницы; наконец, маленькое бревенчатое бунгало с лиственной крышей, принадлежащее трейдеру — торговому агенту. И те же пальмы. Высокие, стройные пальмы, которые с утра до вечера даруют спасительную прохладу. Редко мне доводилось видеть такие высокие пальмы, как в Тавао.

Когда я приезжаю в Тавао, все европейцы — иначе говоря, резидент и трейдер — собираются в рестхаузе, чтобы выпить со шведским гостем стаканчик джина.

Престранный тип этот трейдер — уж не помешанный ли? Он владеет небольшой лавчонкой, торгует мануфактурой и порнографическими открытками. Уверяет, что иногда закупает лес; однако мне ни разу не удалось застать его за работой. С ним живет экономка-китаянка, которая ведет хозяйство и обещает ему родить наследника.

Трейдер слывет ясновидцем. Он может без конца рассказывать о своих встречах с нечистой силой. Даже, в рестхаузе, когда он спит сном праведника под москитной сеткой, ему по ночам являются привидения. Сомневаться в правдивости его слов не приходится: посторонние люди не раз слышали шаги привидений, крадущихся к его ложу. Странно только, что все эти привидения напоминают женщин, преимущественно даячек. По разве бедный трейдер виноват, что даже нечистые духи подчиняются зову пола!

Резидент — человек совсем другого склада; у него острый ум, тело словно высечено из камня. Хотя он уже больше двадцати лет живет в тропиках, он по сей день остался истым англичанином. Объясняется это, должно

быть, тем, что он женат на англичанке и никогда не сближался с восточными женщинами.

Вот история, которая ярко характеризует его.

Вместе с подчиненным ему сержантом полиции, малайцем, резидент отправился ловить двух сбежавших преступников-яванцев. Ему донесли, что беглецы скрываются в заброшенном лагере лесорубов.

Преследователи вышли в путь ночью. Рано утром они добрались на лодке до лагеря и увидели беглецов — те спали у костра.

— Я займусь тем, который лежит справа, а ты тем, что слева, — скомандовал шепотом резидент.

И они бросились на спящих. В этот миг яванцы проснулись и вскочили на ноги. Отъявленные буяны и бандиты, совершившие не одно убийство, они знали, что им нечего терять, но зато есть шанс ускользнуть, если они отобьются. Их паранги лежали наготове. Завязалась схватка.

Резидент быстро справился со своим противником, стрелой в плечо из пистолета. Но сержант не захотел воспользоваться пистолетом, он выхватил из ножен клеванг (короткая индонезийская сабля). Противник легко отбил первый натиск и сумел ранить сержанта в левую руку. Тот стал осторожнее. Развернулся самый настоящий бой по всем правилам фехтовального искусства. Видимо, яванец прежде служил в армии. Хотя его паранг был намного короче, чем клеванг сержанта, он успешно отбивал атаки. Ему удалось ранить полицейского в левое плечо; в свою очередь тот чуть не перерубил ему левую руку.

Бойцы ожесточались все больше и больше. Из руки яванца хлестала кровь, но он бился, как раненая пантера.

А резидент невозмутимо наблюдал за схваткой, изредка отходя в сторону, чтобы не мешать бойцам; совсем как судья на спортивной площадке.

Но потеря крови подорвала силы яванца. Он ослабел, и малаец страшным ударом клеванга рассек бандиту череп.

Победитель долго не мог прийти в себя, он тяжело дышал, дрожа от возбуждения. Наконец вымолвил:

— Сэр! Почему вы не помогли мне?

— Да ты что, дружище! Разве можно было испортить такой бой!

Видимо, эти особенности характера резидента и побудили его передать в мое распоряжение мандура^[11] Анама и его людей, хотя они только что совершили зверское убийство.

Я зашел в китайскую лавчонку сделать кое-какие покупки. Вдруг за моей спиной кто-то заговорил на диалекте саравакских даяков:

— Вы туан бесар^[12] с Нунукана?

Обернувшись, я увидел рослого пожилого мужчину. На круглой голове — широкополая английская фетровая шляпа, из-под которой на меня смотрят небольшие, на редкость пронзительные глаза. У индонезийцев считается невежливым пристально смотреть в глаза собеседнику. Так поступают только тогда, когда сердятся на человека. Поссорившись, два малайца первым делом, скрещивают взгляды. Кто заставит противника потупить, выходит победителем в споре.

Молча смотрю на него. Лишь после того как он опускает глаза, спрашиваю:

— Кто ты такой? Что тебе надо?

— Я мандур Анам. У меня здесь двадцать человек Я хочу, чтобы туан бесар взял нас с собой на Нунукан и дал нам работу.

— Тебе приходилось бывать раньше на лесоразработках?

— Нет. Но мы быстро научимся. Валить деревья умеем и с остальным справимся, если туан нам скажет,

что надо делать.

— Сколько же вы хотите получать за работу?

— Туан заплатит нам столько, сколько мы заслужим. Мы привыкли зарабатывать больше, чем яванцы и даяки!

Саравакские даяки — или ибаны, как они себя называют, — гордый и смелый народ. Они высокого мнения о себе и не скрывают этого. Анам был типичным ибаном. Убедиться в этом несложно: у всех представителей этого воинственного племени шея украшена особой татуировкой. Кроме того, они часто покрывают все тело красивыми узорами.

— Ну пойдем, посмотрим твоих людей, Анам.

Они сидят на берегу у пирса, ждут. Полицейский — он же таможенный чиновник — не подпустил их к моему боту.

Впервые вижу таких молодцов. Рослые, стройные; чеканные лица, смелый взгляд — ни одна женщина не устоит. Одежда — чават, набедренная повязка. У каждого на боку меч; скромные пожитки лежат в плетеных ротанговых коробах, стоящих возле пристани.

— Пусть туан поможет нам выехать. А то охранник не пускает нас к боту, — говорит Анам.

— Это мы уладим. Я возьму вас с собой на Нунукан, если обещаете работать как следует и если вас устроят мои условия.

— Мы согласны, туан!

Подхожу к полицейскому и прошу разрешения провести ибанов.

— Резидент приказал мне не пропускать их, туан. Они, кажется, убили кого-то, — отвечает он.

— Это правда? — обращаюсь я к Анаму. — Вы в самом деле кого-то убили?

Анам невозмутимо отвечает:

— Ну да. Нам потому и надо поскорей убраться отсюда. Иначе хлопот не оберешься. Нам только на

Нунокан попасть, а там уж никто с английской стороны нам не страшен. Лишь бы перебраться через границу.

«Но если за вами числится убийство, вас отсюда вряд ли выпустят», — думаю я про себя.

— А кто из вас убил? Или его уже взяли?

— Мы не хотим говорить — кто, туан. Будем отвечать все вместе.

— Как же это случилось?

— Мы работали на каучуковой плантации у одного китайца здесь, в Тавао. У него был кули, тоже китаец, он все время насмехался над нами, обзывал глупыми даяками! Нас, ибанов! Этот кули спал в одном бараке с нами. Сегодня утром он не вышел на работу, и хозяин сам пошел за ним. Приходит в барак, а тот спит, накрывшись одеялом. Он пнул его ногой, сдернул одеяло и увидел, что кули лежит без головы. Хозяин разозлился, прогнал нас и пошел жаловаться резиденту, Вот и надо нам уходить, пока резидент не решил, что с нами делать.

— А где голова этого кули, Анам?

Анам не отвечает, только вздохнув косится на вещи своих парней.

— Ладно, я сейчас пойду к резиденту и попрошу разрешения взять вас с собой. Подожди здесь, Анам.

Разговор с резидентом затянулся надолго. Наконец он сказал:

— А, черт с ними! Не могу же я всех их засадить в тюрьму. Знаю я этих ребят. Ни за что не скажут, кто отрубил голову кули. Да он, наверно, заслужил этого! Решено: забирай их с собой.

— Ну, спасибо. So long!^[13]

— Да, постой! Насчет кули все. Но я буду тебе очень признателен, если ты сумеешь вытянуть из них, кто убил носорога в горах. Последний носорог был в наших краях! Собственно, мне не охотник нужен, а важно

выяснить, кому он продал рог. Чертовы купцы, это они виноваты в том, что истребляют носорогов. Вбили себе! в голову, что их рога лучшее средство от полового бессилия, и платят за них огромные деньги. Да ты все равно не дознаешься... So long!

Я отвез Анама и его ибанов на восточную оконечность Себатика и поставил их на рубку железного дерева. Перед этим бригада малайцев не смогла наладить там трелевку и сплав и вынуждена была отступить.

Прежде чем оставить их одних в джунглях, я показал Анаму, как малайцы на Нунукане строили лесовозные дороги и вязали плоты. Объяснил, где искать железное дерево и как собирать готовые плоты. Главная трудность подстерегала их на бугре между лесосекой и рекой. Да и вязать илоты будет сложно: очень уж глубоко.

Малайцы не смогли переправить самые большие кряжи через бугор, а с вязкой плотов у них вообще ничего не получилось: кряжи тонули. Удельный вес железного дерева 1,25, оно тонет, как камень. Попробуй управиться с кряжем в два кубометра, когда не достать дна ногами.

Едва я закончил инструктаж, как большинство ибанов исчезли в джунглях. Но не за тем, чтобы рубить лес, а на охоту — увидели поблизости следы диких свиней. Анам с несколькими помощниками *іге* спеша принялись сооружать навес. И я уехал, решив, что от этой бригады тоже не будет толку.

Но когда через две недели я приехал с проверкой, оказалось, что ибаны за это время сделали несравненно больше, чем малайцы за два месяца.

Чтобы перетаскивать кряжи через бугор, они приспособили нечто вроде ворота. Установили вертикально двухметровое бревно и снабдили его ручками; на бревно наматывался канат из лиан,

который тащил на подъем салазки с грузом. Внизу к бревну приделали ось из железного дерева, которая вращалась в деревянном подшипнике. Верхний конец ворота был зажат распорками.

Для вязки плотов Анам соорудил на реке мостки из жердей и ротанга. На мостках тоже был укреплен простейший ворот. Кряжи железного дерева поднимали на поверхность воды и связывали с более легкими бревнами, игравшими роль поплавков.

Все было сделано из дерева и ротанга, ни единого гвоздя, ни куска металла. Я понял, что этим ребятам у меня учиться нечему, и целиком положился на них.

Ибаны ценят такое отношение. Они любят, чтобы им доверяли. Не хотят чувствовать себя ни машинами, ни рабами. За деньги их не купишь. Воинственные ибаны работают из уважения к тому, кто их нанял, и чтобы доказать, что могут лучше других исполнить порученное дело. Больше всего они дорожат званием умелых работников. Немалую роль играл дух состязания. Им нравится соревноваться. Хочешь подстегнуть их — предложи им перещеголять, скажем, макассарцев, которые выполняли ту же работу до них.

Если бы люди Анама заметили, что я потерял интерес к ним, стал равнодушен к их достижениям, они бы тотчас ушли.

Прежде ибаны считали подвигом охоту за головами. Теперь они охотятся за доброй славой, чтобы с честью вернуться в родную деревню, привезя по возможности доказательства своей доблести.

Я часто слышал от моих ибанов, что деньги и вещи для них на втором месте. Доброе имя и слава храбрых, отважных людей им в тысячу раз дороже.

* * *

За два месяца работы на Себатике ибаны заготовили в плотях двести кубометров железного дерева. До лесосклада на Нунукане, куда мой буксир должен был доставить эти плоты, было двадцать километров. Если попадем в сильное волнение, плоты могут рассыпаться. И мы решили отбуксировать их ночью, когда, как правило, в проливе тихо.

Я сам прибыл на буксире к ибанам, чтобы забрать их с собой на Нунукан: они уже вырубали все железное дерево на отведенном им участке.

Ночь выдалась темная: ни луны, ни звезд. На горизонте, полыхая яркими зарницами, громоздились черные тучи. Но мы к этому привыкли и не беспокоились. Человек десять сидели на длинном, полторарастаметровом сборном плоту, наблюдая за канатами.

Мы прошли около полпути, когда с моря налетел тайфун. Я сразу понял, что можно поставить крест на плодах двухмесячной работы. Разбушевавшиеся волны яростно колотились о корму буксира.

Ибаны тоже видели, что нам грозит. Конечно, они не хуже меня понимали бесполезность всяких попыток спасти что-либо. Но сдаться без боя они не могли. И, захватив с буксира канаты, все как один во главе с Анамом спустились на плоты. Кряжи взлетали на буйных волнах так, будто потеряли всякий вес. Слышался угрожающий треск, лопались ротанговые обвязки.

Волны уже разбили несколько плотов. Кряжи сместились, встали торчком, огромные поплавки сорвались и выскочили наверх, словно выброшенные гигантской рукой. Хорошо еще, что никого не задело.

Приказываю остановить буксир; о том, чтобы тащить лес дальше, нечего и думать. Ибаны бесстрашно прыгают по кувыркающимся и тонущим кряжам. Крича

от возбуждения и ярости, они работают как черти, стараются набросить петли на кряжи, привязать их к буксиру.

Ветер крепчает, волны вздымаются все выше и вдребезги разбивают один плот за другим. Тщетно пытаться разглядеть что-либо в исхлестанной дождем густой ревущей тьме. Включаю карманный фонарик — куда там. Только молнии под силу рассеять мрак, осветить сражающихся со стихией ибанов.

Я вижу, как они проваливаются в воду между бревнами. Вижу, как сталкиваются бревна, грозя раздавить голову человека, словно яичную скорлупу. Вот мелькнуло чье-то лицо все в крови... Хватаю трос и прыгаю в воду. «Ерунда, царапина». Он отказывается подняться на борт и продолжает борьбу.

Теперь уже и разговаривать невозможно: рев ветра все заглушает.

Удастся ли спасти хоть один кряж? Хоть одного человека?..

От волнения и страха за них меня бьет дрожь. Пытаюсь зазвать ибанов на буксир. Они не слышат — не хотят слышать. Даем гудок. Никакого впечатления.

Что теперь будет? Если они погибнут, я себе этого никогда не прощу.

Волны захлестывают палубу, поят меня соленой водой.

При свете молнии видно, как редуют плоты и как ибаны продолжают вести неравный бой.

Всего несколько десятков кряжей висит на тросах за кормой. Но буксир не может идти, волоча за собой такой груз. Приходится обрубить тросы.

Наконец ибаны взбираются на борт. Я пересчитываю их. На них страшно глядеть: кожа сморщилась от воды, у многих кровоточащие ссадины. Голые, дрожа от холода и изнеможения, они жмутся к машине.

Но — чудо из чудес! — все как будто налицо.

Мандур Анам плачет от злости и обиды, и не только он. В несколько часов потеряно все, что было добыто усилиями их мышц и мозга. Погибли результаты двухмесячного напряженного труда.

Ибаны явно принимают это ближе к сердцу, чем я. У меня есть утешение: я убедился, что в лице мандура Анама и его ребят получил действительно надежную бригаду.

Что же касается материального ущерба, пусть компания расплачивается.

* * *

Когда лесопильные рамы принялись разгрызать кряж за кряжем, строительство на Нунокане пошло быстрее. И не только потому, что в моем распоряжении оказался строительный материал для жилищ, больниц, контор, складов; из отходов строили себе дома, хижины, лачуги индонезийцы и китайцы — как те, которые были заняты на лесоразработках, так и те, которые нашли себе другие источники существования.

В первую очередь это были содержатели игорных притонов и торговцы, огородники и садоводы, портные и швеи, владельцы кофеен и столовых, фокусники, музыканты и множество таких, которые жили паразитами за счет лесорубов.

Это полностью отвечало моим желаниям. Торговцы, игроки и прочие выкачивали деньги из рабочих, заставляя их трудиться не покладая рук. Появлялись модные товары и всевозможные побрякушки, и у рабочих возникали новые запросы и потребности.

Каждый построивший себе дом автоматически оказывался привязанным к компании; во всяком случае,

к Пунукану. Чем лучше дом, тем прочнее узы. Поэтому я легко мирился с тем, что на эти дома шли не только отходы, но и немало леса со склада.

Политика дальнего прицела! Мы должны были стараться привязать к себе возможно больше рабочих рук, обеспечить себя постоянными кадрами.

Видя, как растет поселок и джунгли с каждым днем уступают место новым садам и домам, как открываются новые магазины и увеличивается постоянное население Нунукана, я гордился собой. Мне казалось, что я делаю что-то значительное: ведь по моему велению в дебрях возник целый город.

Но, забираясь вдоль рек в глубь островов, я видел другие селения, другие посеы и в конце концов понял, что мне хвастаться нечем. То, чем занимались мы на Нунукане, делалось не в интересах человека, а исключительно в интересах акционеров.

Правда, я старался удерживать в известных границах тот «порок», которому сам же открыл доступ на Нунукан.

Игроков, которые нарушали установленные правила и играли в неположенное время, изгоняли; та же судьба постигала девиц легкого поведения, которые наведывались к нам из Таракана. С ними пришлось на первых порах вести настоящую войну.

Я выпроваживал их отнюдь не из нравственных, а исключительно из деловых соображений: они заражали моих рабочих венерическими болезнями, что, естественно, наносило серьезный ущерб производству.

Первыми из Таракана прибыли особы самого низкого пошиба: две больные яванки и несколько даячек. За короткое время они всех ибанов заразили гонореей, которой эти ребята до тех пор совершенно не знали.

Я предложил дамочкам обратиться, и они кротко повиновались.

Но тотчас же появилось несколько новых представительниц этого сословия. Снова случаи заболевания — и снова изгнание виновниц.

Наконец прелестницы низшего разряда перестали навещать Нунукан. Но вместо них приехали девицы более изысканные и более опасные. Молодые, смазливые, они умели петь и играть на гитаре и вскружили головы всем мужчинам на острове. Звенело золото, сверкали ножи, множилось число несчастных влюбленных и разорившихся.

Пожалуй, больше всех пострадал из-за прелестниц Салим, малаец из Банджермасина, который служил у меня в конторе. Какой-нибудь психолог сказал бы, что у Салима невроз или что его поступок был обусловлен забытыми переживаниями раннего детства. На мой взгляд, у Салима не было никаких неврозов. Убежденный мусульманин, он считал, что если тебя вводит в соблазн какой-нибудь член, — этот член надо отсечь. И поступил соответственно.

Холостой парень, очень симпатичный, Салим относился к тем на Нунукане, кто вел наиболее порядочную жизнь. Его чрезвычайно уважали за глубокое знание правой веры.

И надо же было случиться так, что он влюбился в веселую и легкомысленную малайку.

Салим предложил ей обвенчаться, как это предписано учением. Девушка отказалась. Ей хотелось только поиграть с ним, принимая деньги и подарки и давая как можно меньше взамен.

Целую неделю Салим ходил в раздумье — и не устоял. Он преподнес ей алмазное кольцо; ему была обещана желанная награда.

Салиму предстояла первая в его жизни ночь с женщиной, к тому же греховная ночь — ведь они не были обвенчаны.

Возможно, его мучила совесть. Возможно, он был слишком стеснителен и неопытен. Так или иначе, оказавшись наедине с обольстительницей, Салим, как мне потом рассказал Дулла, ничего не смог сделать.

Бедняга решил, что сам Аллах покарал его. Взбешенный, униженный, полный раскаяния, покидал он утром малайку. Старый Дулла видел, как Салим вернулся домой, вышел с ножом в руке, стал под пальмой на берегу и решительно отсек член, который едва не совратил его с пути истинного.

Дулла вызвал меня, мы поймали Салима и сделали ему перевязку. Потом отправили в Таракан для лечения, а неделю спустя Салим опять сидел на своем месте в конторе.

Он образцово выполнял служебные обязанности, а свободное время целиком посвящал религиозным обрядам, обнаруживая при этом великую целеустремленность и рассудительность. Уважение к нему только возросло. Люди считали, что Салим совершил подвиг, показал себя достойным слугой Аллаха.

Конечно, это ужасно, когда женщина доводит человека до такой крайности. Но чаще всего дело ограничивалось опустошенными карманами и разбитыми сердцами. Болезней эти девушки не распространяли, и я не стал преследовать их: должно же быть какое-то разнообразие в нунуканской жизни. Правда, Джаин настаивал на выдворении прелестниц. Он сугубо отрицательно смотрел на такого рода легкомыслие. Вероятно потому, что он был отцом восьми дочерей и старшие уже приближались к брачному возрасту.

Чтобы выпроводить очень уж наглых девиц, мне не надо было прибегать к крутым мерам. Они сами быстренько убирались, узнав, что я не хочу видеть их на Нунукане.

Иначе обстояло дело с профессиональными игроками и другими негодьями. От них было труднее избавиться. Официально я не имел права изгонять с Нунукана нежелательных лиц. Зато в моем распоряжении был довод, который, пожалуй, весил больше любых законов: мои ибаны. Если кто-нибудь очень уж упирался, не желал подчиниться моему приказу, мне достаточно было сказать словечко мандуру Анаму и его товарищам.

Один из вождей на соседнем острове — Себатике задумал потягаться со мной. Он правил маленькой деревушкой, нещадно эксплуатируя своих подданных, которых было около ста человек. Эти люди, помесь бугов, малайцев и даяков, охотно шли работать к нам. Одних привлекала возможность испытать в день получки азарт игры, других — купить своим женщинам кофе и сахар.

Но вождю не нравилось, что в деревне оставалось очень уж мало людей. Еще больше его возмущало, что я выплачиваю заработок его подданных им самим, а не ему. И вождь запретил своим людям работать на нунуканских лесоразработках. А так как запрет не возымел желанного действия и мужчины по-прежнему покидали деревню, он принялся разъезжать по лесосекам, пытаясь угрозами заставить своих людей вернуться.

Я предложил ему прекратить это.

Он не послушался, напротив, встретив меня через неделю, нагло потребовал, чтобы я либо немедленно уволил его людей, либо ежемесячно выплачивал ему кругленькую сумму. Иначе будут неприятности.

А надо сказать, что вождей назначал представитель голландских властей в Таракане и, следовательно, они были официальными лицами. Их даже облакали полицейскими полномочиями. Я же обладал лишь той властью, которую сам себе присвоил. Вот вождь и

решил, что может потягаться со мной. Он не знал Анама.

Я сказал Анаму, что недоволен этим вождем.

— Что — отрубить ему голову? — с воодушевлением спросил предводитель ибанов.

— Нет... не надо. Просто сделай так, чтобы он не совал сюда нос.

Когда вождь опять явился на Нунокан на своей пироге, у пристани его встретил Анам. Он любезно предложил гостю выпить чашечку кофе, и вождь, привязав лодку, пошел с ним в кофейню. Анам подчеркнул, что ему очень лестно познакомиться со столь влиятельным лицом.

Долго текла учтивая беседа о погоде, о том, как вырос и процветает поселок Нунокан. Вдруг Анам прерывает ее:

— У тебя отличная голова, вождь!

— ??

Анам внимательно осматривает его голову со всех сторон:

— Тонкая шея, один удар мечом — и готово.

На лице вождя — идиотская улыбка, он никак не возьмет в толк, что ото — шутка или оскорбление.

Пока он раздумывает, как отнестись к словам Анама, к ним подходит Легонг, любитель проказ и лихой плясун.

— Легонг, — говорит Анам, — знаешь, что мне пришло на ум? Голова вождя — это как раз то, чего нам не хватало. Вот что надо закопать в землю под лесопилкой!

— Что верно, то верно, — отзывается Легонг, пристально глядя на вождя. — Эта голова похожа на зрелый писанг^[14]. Для нее прошли все сроки. — Он поглаживает висящие на боку ножны. — Писанги полагаются срезать не дожидаясь, когда они поспеют!

— Что... Что? — заикается вождь, пытаюсь отыскать взглядом на серьезном лице Анама хотя бы намек на улыбку. По глаза Анама, как и глаза Легонга, выражают нечто совсем иное... Нечто такое, от чего вождь поднимается на свои разом ослабевшие ноги и с трясущимся подбородком бредет к пироге. Несмотря на елейный голос Анама, вождь понял, что к его словам нужно отнестись очень серьезно.

Он больше не показывался на Нунукане.

Позднее голландский представитель в Таракане рассказал мне, что вождь явился к нему и наговорил, будто я поощряю охоту за головами на Нунукане. Представитель не придавал его словам никакого значения, все эти басни о белых охотниках за головами успели ему надоест. Пришлось, однако, назначить нового вождя: этот болван ни за что не соглашался возвратиться в твою деревню.

* * *

Надо сказать, ибаны и в самом деле хотели раздобыть голову и закопать ее под лесопилкой. Есть в Индонезии старинное поверье: чтобы задобрить силы зла и предотвратить несчастье, под каждой большой постройкой, тем более под фабриками и подобными зданиями, необходимо закапывать голову. Чаще закапывают бычью или козью голову. Но лучше всего человеческая голова.

Анам много раз приходил ко мне, умолял позволить добыть голову-другую для лесопилки. Дескать, иначе не миновать беды.

— Туан не пожертвовал духам ни одной головы. Это кончится плохо. Такая большая лесопилка! И столько

ненасытных машин!

— Но ведь мы уже зарыли и бычью и козью головы.

— Это годится для жилого дома, для конторы. Для лесопилки этого мало, нужна человеческая. Здесь, на Нунукане, все нас боятся, в бою голову не добудешь. Возьму-ка я лучше с собой товарища и поднимусь вверх по Себуку! Туан помнит тамошних даяков? Мы к ним заходили, когда осматривали с туаном лес. Они такие глупые и трусливые, там раздобыть две головы — все равно что с пальмы плоды собрать. Пустите меня, туан. Никто ничего не узнает!

— Ни за что, Анам! Вы не должны отрубать головы людям, пока на вас не напали! Запомни это, Анам! К тому же я уверен: уж кто-кто, а ибаны не побоятся работать на лесопилке, зарыта под ней голова или нет!

— Мы-то не боимся. Вот остальные... Ладно, пусть будет по-вашему, — заключил он со вздохом.

Стало обычным поручать ибанам все работы, которые оказывались не под силу другим. Если попадалась особенно трудная лесосека или тяжелая для сплава река, туда посылали мандура Анама с его людьми. И нам никогда не приходилось жалеть об этом. Когда строительство железной дороги между Нунуканом и Ментсапой замедлилось из-за сложного рельефа, мы направили туда ибанов. И когда обнаружилось, что малайцы никак не могут довести до конца мост через реку Сидадп, опять-таки пришлось обратиться к Анаму.

Я убедился, что его ребятам любое дело по плечу. Они работали не ради денег — им нравилось решать сложные задачи. И оказалось, что ибаны легко осваивают машины.

Началось с того, что я поставил троих ибанов работать на лесоскладе. Через недельку Ладонг и Банао попросили разрешить им управлять пилорамами.

Я согласился, и результаты оказались превосходными.

Рабочие для лесопилки были наняты в Саманринде и на Яве. Среди них были представители различных малайских народностей; преобладали яванцы. Работа шла довольно вяло.

Войдя во вкус, три ибана предложили привлечь и других своих товарищей: мол, так дело пойдет живее.

Тогда я на все ответственные участки назначил ибанов. Производительность сразу возросла. Заведовавший лесопилкой голландец пришел в восторг и попросил дать ему побольше «этих дикарей».

Мандур Анам съездил в свою деревню и привез еще двадцать человек.

Они справлялись с машинами так, словно всю жизнь ничего другого не делали. И это несмотря на то что прежде в глаза не видали даже подобия машин. Их племя до сих пор было незнакомо с колесом.

Мы на Западе гордимся своей техникой, считаем, что она ставит нас неизмеримо выше тех народов, которые еще не изобрели даже колеса. Но ведь это чистая случайность, что нам удалось опередить других. Мы слишком легко забываем, что всего несколько сот или тысяч лет назад стояли на столь же (если не более) «низкой» ступени развития, что и те, кого сегодня высокомерно именуем «дикарями». Забываем, что в масштабе всего бытия несколько тысяч лет истории человечества — ничтожно малый отрезок времени.

Видя, как быстро так называемые дикари осваивают машины, — понимаешь, насколько это просто. Ибаны были особенно наглядным примером.

За два дня Легонг научился управлять огромной рамой: правильно подавать бревно, определять на слух, когда нужно сменить полотно, учитывать твердость распиливаемой породы и заточку зубьев. Благодаря его

стараниям ни на минуту не прерывался поток бревен, проходящих через пилораму.

Банао стал десятником на электростанции, заправлял двумя огромными паровыми машинами. День и ночь — мы теперь работали в две смены — он обеспечивал нужное давление пара.

На фрезерные станки я тоже поставил ибанов — только что из джунглей, в чаватах, с большими круглыми серьгами в отвисших мочках ушей. Когда они пришли, яванцы подняли их на смех. Но им недолго пришлось смеяться: ибаны по всем статьям превзошли их.

А Ладонгу — на редкость красивому парню, плясуну и покорителю женских сердец — поручили электрический мостовой кран.

Размеры здания лесопилки — шестьдесят метров в длину и восемнадцать в ширину. Это легкая металлическая конструкция без стен, с железной крышей, под которой ходит на рельсах широкий, во весь пролет, мостовой кран. Подъемное приспособление вместе с корпусом крана перемещается вдоль цеха и по самому корпусу — поперек. Место крановщика — в небольшой железной клетушке на краю крана. Он действует тремя рычагами. Один регулирует продольное движение, другой — поперечное, третий заставляет трос опускаться вниз и поднимать груз.

На этой работе о нервах лучше забыть. Кран забирает бревна со склада и укладывает их на тележку не ред рамой. Огромной клешней он хватает то, что вышло из рамы, и несет либо к другим, меньшим пилам либо прямо на сортировку. Тут только поспевай! Если крановщик будет мешкать, не наладит как следует свою работу, ему придется выслушать нелестные слова тех, кто ждет помощи крана.

Но Ладонг не мешкает. Он с невозмутимостью бога парит в своем поднебесье и считает особым шиком

мчаться на полной скорости, неся груз так низко, что едва не задевает машины и людей. Его правило — «поднимать не выше, чем это необходимо». Он, кажется, уверен, что выполняет самую ответственную работу на всей лесопилке. Может быть, это так и есть? Когда Ладонг подлетает, неся на тросе пятитонное бревно, и в несколько секунд с удивительной точностью укладывает его на тележку перед рамой, у него взгляд и осанка римского триумфатора.

Ладонг отлично усвоил свои обязанности, но работ машиной он никогда не станет. Иногда нрав вольного сына джунглей берет в нем верх, а это может быть опасным, ведь в его распоряжении страшная сила.

Яванец Симон испытал это на себе.

Симон работал электромонтером. Он только что прибыл на Нунокан из Сурабаи с дипломом об окончании ремесленного училища и считал себя неизмеримо выше каких-то там полудиких ибанов.

Понадобилось исправить какой-то провод иод крышей лесопилки, над самым краном. К железной балке подвесили доску. На ней сидел, работая, Симон. Его предупредили: когда идет кран, он должен живо взбираться на балку, чтобы не тормозить работу других.

И вот Ладонг подъезжает со своим краном к сидящему на доске монтеру. Симон взглянул на крановщика и не двинулся с места. Счел ниже своего достоинства уступать дорогу этой деревенщине с серьгами в ушах.

Ладонг остановился и на своем певучем диалекте сказал:

— Прошу вас уйти с дороги. Я не могу задерживать всю лесопилку. Мне приказано не мешкать.

— Вот как, — ответил Симон и медленно полез на балку.

Слишком медленно, по мнению Ладонга.

— Следующий раз я не буду останавливаться, — предупредил он.

Возможно, Симона ввел в заблуждение мягкий голос Ладонга. Так или иначе, он не принял его слова всерьез.

И вот опять мчится кран.

Симон не ушел с дороги.

Ладонг не остановился.

Дикий вопль покрыл грохот машин.

Симона зажало между железной балкой и доской, на которой он сидел. У него сломана рука, повреждены обе ноги. Он упал на кран и судорожно вцепился в него.

А Ладонг, как ни в чем не бывало, проследовал с досками к тележкам.

Сбежался народ, Симона сняли. Ладонг так же спокойно выждал, пока разгрузят кран, и двинулся дальше. На яростную брань и проклятия заведующего он невозмутимо ответил:

— Мне приказано не мешкать.

Симон семь недель пролежал в больнице.

— Что ж это ты, чуть не убил человека? — спросил я Ладонга.

— Он сам захотел этого, туан. Я же предупредил его. Пусть не думает, что я болтаю впустую.

* * *

Наши узкоколейки протянулись уже на десятки километров, и я, получив с Явы несколько паровозиков, тотчас посадил на них ибанов.

Поначалу им никак не удавалось поддерживать пар, по скоро они овладели этим искусством. Мой голландский машинист был вынужден сдать после

нескольких неудачных попыток одолеть длинные подъемы А ибаны приноровились брать их с ходу.

Для меня по сей день остается загадкой, как они ухитрялись удерживать состав на рельсах. Конечно, на первых порах они частенько соскакивали с них. Мы основательно потрудились, поднимая свалившиеся под откос паровозы. Но через некоторое время они уже прочие держались на рельсах, хотя ездили все быстрее и быстрее. Можно было подумать, что им помогает какая-то таинственная сила.

Разумеется, известную роль сыграло то, что мы постепенно совершенствовали полотно. Но и в этом заслуга ибанов. На ремонте была занята бригада опытных путейцев с Явы, и они работали очень старательно: ибаны грозили им страшной расправой, как только где-нибудь смещался хоть один рельс.

Убийца

Поздно вечером, закончив еще один рабочий день на море и в джунглях, мы с Асао вернулись домой.

Только Асао начал снимать с лодки «Пенту», как прибежал Джаин и доложил: несколько часов назад из Ситабока сообщили, что там убита женщина. Преступник, видимо, кто-то из нашей бригады, работающей неподалеку в лесу.

Асао не ждет приказаний. С каменным лицом ставит на место мотор и спрашивает, кто убитая.

— Жена Абаса. Ее убили около реки.

— Туан, — говорит Асао, — я сбегаю домой, возьму немного риса. Потом буду ждать здесь туана.

Я иду к себе — надо же поесть перед тем, как снова двигаться в путь. Сари уже накрыла стол.

— Так поздно пришел — и опять куда-то собираешься! Я поеду с тобой! Небо ясное, будет луна, хорошая погода. Возьми меня!

— Нельзя, Сари! Я уезжаю на всю ночь, наверно придется спать прямо в лесу. Мы будем ловить убийцу. Оставайся лучше сторожить дом. Может быть, я задержусь на несколько дней.

— О! Я не могу ни спать, ни есть, ни думать, когда ты уезжаешь, бросаешь меня! Возьми меня с собой! Возьми!

У нее на глазах слезы. Но я не могу ее взять.

Отдаю необходимые распоряжения на лесопилке, предупреждаю, что меня, возможно, не будет день-два. Беру пистолет, наручники и спешу к лодке, где уже ждет Асао.

Вот и луна всплывает над лесистыми вершинами Себатика, рассыпая серебро на поверхности пролива. Едва успев задремать после жаркого дня, джунгли

снова оживают, взбудораженные холодным лунным светом.

Аллах!.. Как ярко блестят гляцевитые кроны пальм! Как хороша белая магнолия! Какое волшебное сияние разлито во влажном воздухе, напоенном ароматом цветов, насыщенном их пылью!

— Жена Абаса — сестра Би, — слышу сквозь гул мотора голос Асао.

Что? А, да, — это по просто прогулка при луне, нам предстоит расследовать убийство.

Убийство! И убитая — сестра Би. Мне чудится в этом какая-то связь с лунной ночью и ее холодной страстью. Наверно, очередная любовная драма. Наверно, это женщина была похожа на Бию и свела с ума какого-нибудь беднягу. Абаса я знаю, он напоминает небольшую крысу, только глаза не блестят, взгляд у него потухший, неподвижный. Сестра Би... Тогда понятно, почему у этого сухопарого юркого человека такие унылые глаза.

Ситабок. Лодка уткнулась в шаткую пристань, и мотор смолк, но лунный концерт джунглей может поспорить с рокотом «Пенты». В исступленном соревновании — кто кого перекричит — всех одолевают цикады. В их резком, пронзительном стрекоте тонут мелодичные голоса ночных птиц, звонкое кваканье лягушек, хриплые страстные крики оленей.

Вдоль серебристой песчаной дорожки выстроились пятнадцать домиков Ситабока. Молчат, притихли в лунном свете. Кроме дома Абаса: здесь горит свет и слышны голоса. Кое-как возделанные клочки земли с редкими писангами и путаной порослью сахарного тростника пытаются убедить нас, что природа покорила человеку. Куда там: джунгли, щедро осыпающие все вокруг белыми лепестками с гигантских камфарных деревьев, стиснули деревушку в железных объятиях. Да, джунгли властвуют тут безраздельно, тут

действует их закон. Смешно и нелепо, вооружившись пистолетом и наручниками, вторгаться в это лунное царство, чтобы взять в плен одного из его подданных, виновного лишь в том, что он следовал законам этого царства.

Вот она лежит, сестра Би. Тело вымыли, накрыли пестрым саронгом. Завидев нас, Абас суетится, пытается изобразить горе.

Саронг приподнимают, различаю маленькую ранку на пышной белой груди. Сразу видно, что удар нанесён опытной рукой, хорошо знакомой с кинжалом. Остекленевшие черные глаза тщетно пытались прикрыть веками.

— Она в самом деле мертва? — спрашиваю я удивленно.

Так и кажется, что она просто лежит, ожидая, чтобы кто-нибудь еще из-за нее потерял голову или, как здесь говорят, — был околдован ею.

— Завтра утром похороним, туан, — говорит Абас. — Мы хотели, чтобы туан посмотрел на нее сначала.

— Кто убил ее?

Отвечает Асао:

— Похоже, это сделал тот баджао, который навещал ее, когда Абаса не было дома. Он работает в Бинджао.

Бинджао — наша лесосека, километрах в трех на восток от Ситабока. Там занято около сорока человек. Преобладают даяки, но есть яванцы, буги и один баджао, пират из Замбоанги. Высокий, стройный, почти черный. Он, кто же еще, — баджао привычны к ножевой расправе.

От Ситабока до Бинджао по лесной тропе ходу полчаса. Лагерь — длинная хижина — расположен на берегу ручья. Переходим ручей по поваленному стволу. Вдруг Асао вскрикивает, предупреждая спящих.

— Ты зачем крикнул? Теперь он убежит, ясное дело! Асао молчит.

Бросаюсь к хижине, распахиваю дверь. Асао неотступно следует за мной. Видим, как кто-то прорубает отверстие в противоположной стене и лезет в него.

— Стой! Стрелять буду!

Исчез...

Страшный переполох. Кричат на полдюжине наречий одновременно.

А баджао нет. Он явно ждал нашего прихода и приготовился к бегству. Там, где он спал, — голая циновка.

Десятник клянется, что ничего не знал; правда, ему было известно, что баджао наведывался в Ситабок, к жене Абаса.

Искать человека в джунглях — пустая затея. Но баджао не лесной житель, он сын моря, пират с юных лет. Долго не выдержит в этих дебрях. При первом удобном случае попытается раздобыть лодку, чтобы перебраться на английскую сторону. От восточной оконечности Себатика до Тавао всего несколько часов хода на веслах.

Решаю залечь в засаде на мысу. Вместе с Асао. Поставим у берега лодчонку для приманки и подстережем убийцу.

Но в Ситабоке выясняется, что мы не можем отчалить: отлиф. Что ж, подождем несколько часов, пока не начнется прилив.

Вытягиваюсь во весь рост на пружинистых досках пристани. Теплый ветерок с моря отгоняет москитов. За илистой отмелью лениво вздымаются хмельные от лунного света маслянистые валы; посреди неба застыла круглая луна, а под ней джунгли борются с мутной волной страсти.

Деревня притихла, но не спит, она как будто скована судорогой. В голосах птиц, в звоне цикад нет вольной радости — только исступленная страсть.

Глухие черные джунгли трепещут в холодном чувственном свете и, опьяненные страстью, не могут устоять, безвольно отдаются ему.

Закрываю глаза, спасаясь от лунных чар, и вижу белое тело убитой.

Нет, она не мертва! Нельзя убить это буйное воплощение чувственности! Как нельзя уязвить кинжалом луну.

Ну, конечно, теперь я вижу!

Она и есть луна!

Бесчувственная луна с красным пятнышком кинжального укола. Ее белизна — это белизна луны, ленивая жадная улыбка — холодный блеск луны, которая будит темные страсти джунглей, сама оставаясь бесстрастной. Да нет же, это не джунгли — это смуглые мужчины с горящими глазами. Обратив искаженные лица к Манящей, Белой, они молча простирают вверх бессильные руки. В одной из рук дрожит окровавленный кинжал.

Но разве можно убить Ее! Луну!..

Вдруг замечаю, что луна смотрит на меня зовущими глазами Бии. А в толпе обезумевших смуглых мужчин вижу искаженное лицо Асао. Кинжал — в его руке!

Что у него на уме? Неужели он думает, что может убить Бию?

Я вздрагиваю и просыпаюсь.

— Вода поднялась, туан. Можно ехать домой.

Вот так же Асао разговаривает со мной. И никакого кинжала в руках, всего-навсего гаечный ключ. Протираю глаза и поднимаюсь с досок.

— Домой? Нет, Асао, мы поедem на мыс, устроим засаду, будем ждать убийцу. Сходи в деревню, займи немного риса. Еще неизвестно, сколько дней придется здесь провести.

Асао отвечает мне долгим взглядом, который я тщетно пытаюсь разгадать. Он присаживается на

корточки. Зачем-то роется в щебне. Подмышки опираются на колени, он удобно сидит на пятках. Вдруг поднимает глаза и смотрит на меня в упор. В его улыбке смущение сочетается с твердой решимостью.

— Не стоит туда ехать, туан. Лучше домой! На что нам сдался этот баджао! Если он и впрямь согрешил, пусть Аллах сам покарает его!

Смотрю Асао в глаза; он отвечает тем же. И мне чудится в его взгляде стремление сделать все, чтобы спасти жизнь убийце. Что сейчас происходит в мозгу Асао? Может быть, думает: нашелся человек, сделавший то, что он и сам не прочь бы сделать, да решимости не хватает. А ведь Асао хороший, очень хороший человек... В самом деле, зачем нам нужен этот баджао! Будем надеяться, что Аллах обойдется без нашей помощи.

— Ты прав! Поехали домой, Асао!

Колдунья

Примерно в то время, когда я встретил мандура Анама, Джаин выехал на восточное побережье Суматры, чтобы нанять там китайцев, о которых он столько говорил.

Мы долго обсуждали этот вопрос. Я не хуже его знал, что китайцы энергичнее наших людей, а, главное, они лучше работают. Лучше строят дороги, лучше делают салазки, лучше обращаются с инструментом и лучше орудуют им.

Но с ними гораздо труднее ладить.

Потому-то я и тянул так долго. Но другой возможности поднять производительность мы не видели. Значит, надо испытать китайцев. Нам было еще очень далеко до пяти тысяч кубометров в месяц!

От Нунокана до восточного побережья Суматры путь длинный. Десять дней туда на пароходе компании КПМ^[15] и по меньшей мере столько же обратно. Да еще десять дней нужно Джаину, чтобы набрать людей. Целый месяц обходиться без него. Нелегко... У нас уже было полтора десятка бригад, одному с ними не так-то просто справиться. Что ни лесосека, то особый мирок, и люди здесь давали волю своим страстям несравненно чаще, чем в больших поселениях. Убийства, несчастные случаи, всякие происшествия в порядке вещей. Мы, руководители, должны были быстро устранять недоразумения, не допуская серьезных конфликтов и срывов в работе. В частности, вовремя удалять из лесного лагеря женщину или мужчину, которые оказывались опасными для окружающих, быть советчиками в работе и любви.

Мы с Джаином разделили участки примерно поровну. Теперь мне предстояло заниматься и его

подопечными. Ладно, как-нибудь справлюсь, зато у нас будут китайцы!

В эти же дни ко мне попал Бара — буг, красивый парень, молчаливый, но явно пользующийся авторитетом среди других бугов. Я решил сделать его своим помощником.

С отъездом Джаина Бара принял начальство над бригадой бугов и макассарцев, которые до сих пор больше шумели и скандалили, чем работали.

За месяц, пока отсутствовал Джаин, я смог поближе познакомиться с Барой.

Он рассказал, что приехал к нам из Сангколиранга. Там работал в японской лесопромышленной компании, но начальники пришлись ему не по душе, он уволился и перебрался сюда. Слышал, что на Нунукане деньги гребут лопатой, а все ссоры решают ножами. И что чаще всего ножи сверкают из-за женщин.

Бара обнажает в улыбке ослепительно белые зубы:

— Хоть я и буг, туан, но убивать кого-то из-за женщин не буду, не такой дурак. И уж я послежу за тем, чтобы на Себакисе такого не было.

Всего в подчинении Бары оказалось около тридцати человек. Вскоре мне передали, что они чуть не убили его. Однако, прибыв туда спустя еще неделю, я обнаружил, что на участке царят мир и порядок, работа идет полным ходом. Во всяком случае так мне показалось. И лишь когда Бара попросил меня остаться на ночь кое о чем потолковать, я догадался, что не все обстоит как надо.

Ночь прошла спокойно, разговаривали мы недолго, но я успел уловить, что атмосфера тут напряженная.

Участок находился в шестидесяти километрах от Нунукапа, на реке Себакис, на самом Борнео. Наш поселок был ближайшим населенным пунктом, так что лагерь был совсем изолирован в джунглях. Уже одно то, что здесь водились дикие буйволы и слоны, могло хоть

на кого нагнать страх. Но не только это беспокоило Бару. Он не хотел прямо сказать, в чем дело, но я догадывался, что тут замешана нечистая сила.

На рубке и трелевке работало человек двадцать пять; пятеро занимались сплавом по реке. Старшим у сплавщиков был коренастый светлокожий силач, тоже буг. Квадратное лицо, узкие глаза, тонкие, недовольно сжатые губы. Звали его Осман, и была у него жена удивительной красоты. Мало женщин могло сравниться с этой дочерью буга и даячки: нежная светлая кожа, правильные черты лица, большие яркие глаза и мягкий рот. Разве что излишне полновата.

Как могла такая красавица очутиться в лагере лесорубов?

— Осман уже пять лет женат на ней, — сообщил Бара.

— Такая женщина, и кругом столько холостяков! Они же перережут друг друга!

Я чувствовал, что и сам способен на глупость ради нее.

— Нет, туан, ее никто не смеет трогать. Они боятся ее.

— Ее? Ты хочешь сказать — Османа?

— Нет, туан, ее. Осман и сам боится. Я даже не уверен, спал ли он с ней хоть раз. У них нет детей, туан.

Да, тут что-то не то. Редкостная красавица, кругом пылкие мужчины, и никто, даже муж, не осмеливается тронуть ее!

— Туан сегодня ночью ничего особенного не заметил? — спросил Бара.

— Я спал как убитый. А что?

— Если туан останется еще на одну ночь, мы не будем ложиться так рано, и тогда туан, может быть, кое-что увидит.

— Нечистая сила появилась?

— Не знаю, туан. Сказать, что это духи, — так ведь в духов теперь не верят. Во всяком случае что-то странное.

Вот оно что — старая басня... Конечно, духи, кто же еще; здесь каждый уверен, что джунгли кишат ими. А когда человек заранее настроился что-то увидеть и услышать, ему это и впрямь видится и слышится. И даже больше!

— Ладно, останусь. Кстати, проверим как следует твои наряды. Ты, должно быть, ошибся: на реке леса меньше, чем у тебя записано.

Лесорубы и трелевщики жили в бараке, в километре от того места, где вязали плоты. На месте вязки обосновались Осман с женой и четверьмя товарищами, а также Бара.

Четверо рабочих жили в одной хижине, Осман с женой и Бара — в другой. В ней было три отделения. Одно служило спальней Осману и его жене, в другой жил Бара, в третьем помещалась так называемая контора.

Контора была первой от двери. Дальше шли спальни Бары и Османа.

Управившись с вечерним рисом, мы с Барой на час-другой пошли поохотиться. Довольно быстро добыли киджанга (местный вид оленя) и вернулись с добычей домой.

Потом сели проверять отчетность. Время близилось к одиннадцати.

— А почему Осман не идет домой?

— Он никогда не бывает дома ночью, туан. Работает до утра. Если нет другого дела, сторожит плоты.

— И красавица жена остается с тобой в доме одна?

— Тихо! Слушайте, туан! Слушайте!

— Слышу — река журчит да цикады поют.

— Нет, там внутри! В ее комнате, туан.

Внимательно прислушиваюсь и улавливаю слабый шорох.

— Она еще не спит?

— Не знаю. Она легла, опустила москитную сетку. Но по полу что-то движется.

Я невольно вздрагиваю, кожа покрывается пупырышками. Гнетущий мрак тропической ночи, таинственный шепот Бары, его туманные намеки, — кажется, все это повлияло на меня. Я откровенно трушу.

Бара видит мой испуг.

— Когда человек вот так вздрагивает и волосы встают дыбом, это самый верный признак нечистой силы, — говорит он.

— А, брось, Бара! Не выдумывай! Подумаешь, шум в комнате. Посмотри и ты увидишь: либо она встала и ходит, либо Осман вернулся домой.

Из комнаты опять доносится шум. Словно что-то упало.

Бара смотрит на меня.

Я начинаю сердиться. Что он, нарочно меня пугает?

— Пошли, Бара, поглядим в чем дело!

Мы проходим в его спальню. Дверь в комнату Османа закрыта, но стена сделана из пальмовых листьев, щелей в ней предостаточно. У соседей горит тусклый ночник.

Глядим. Ничего не видим. Ничего не слышим.

— Наверно, крыса, — говорю я.

Красавица лежит в постели. Спит она или нет, не поймешь, но дышит, как спящий человек.

Вдруг снова шорох.

Совсем близко от нас.

Бара поворачивается ко мне; у него дрожат руки, в глазах ужас.

— Смотрите! Смотрите, туан! — Он заикается.

Борясь со страхом, заставляю себя снова заглянуть в щелку и явственно вижу — по полу медленно ползут

две женские туфли. От кровати к столу.

Никогда еще я не чувствовал себя так мерзко.

И в то же время меня злит моя трусость.

Не могут же туфли ползти сами собой. Должно быть какое-то объяснение.

— Кто-нибудь тянет их за ниточку, Бара!

Бара только снисходительно улыбается.

Бам!

Жестяная коробка падает со стола и ударяется об пол со звуком, напоминающим выстрел.

Нервы не выдерживают, я громко вскрикиваю. Слышу, как женщина со стоном поворачивается на кровати.

Мы возвращаемся в контору. Мне совсем не хочется проверять, почему двигались туфли.

— И вот так каждую ночь, — говорит Бара. — Иногда по комнате летают камни, а то ножи. Теперь туан своими глазами видел. А то бы туан не поверил. Я нарочно не хотел ничего говорить, пока туан сам не убедился. Я уже не так боюсь, туан. У меня есть амулет, от всякой нечисти охраняет. Так что я привык. А Осман никак не может привыкнуть. Сначала они жили в бараке вместе со всеми. Что творилось! Парни были без ума от нее и не скрывали этого. А Осман — хоть бы что. Но когда вещи начали сами собой двигаться, они перепугались. Сперва подумали, это Осман сговорился с злыми духами, чтобы они охраняли красавицу-жену. Потом поняли, что Осман не меньше их боится. Вот и пришлось Осману переехать. Никто не решается жить с ними в одном доме. Кроме меня...

Мое смятение прошло, я вспоминаю случаи, про которые когда-то читал. Будто и у нас, в Швеции, и в Англии появлялись женщины, которые неведомо как, даже не отдавая себе отчета в этом, могли на расстоянии передвигать предметы. Что-то в этом роде я слышал и на Яве. Вот и тут — жена Османа наделена

каким-то неизвестным свойством, позволяющим ей бессознательно, во время сна делать такие штуки.

Конечно, было бы интересно как следует разобраться во всем этом. Но я, ей же богу, не испытывал никакого желания, во всяком случае в ту минуту, еще раз увидеть, как вещи двигаются сами собой. Наверно, у меня не научный склад ума. И у меня пропал всякий интерес к жене Османа.

Днем-то страхи, конечно развеялись. Но все равно, она меня уже не волновала после того, как заставила туфли прогуливаться по полу.

Зато я проникся глубоким уважением к Баре. Рядовой буг ни за что не отважился бы жить в таком соседстве. Тем более что Бара в отличие от меня не искал рациональных объяснений, а беспрекословно верил, что тут замешана нечистая сила.

Остается загадкой, как мог Осман жить с такой женщиной. Почему не ушел от нее? Ведь она отравляла ему жизнь.

— Очень просто, — заявил мне Бара. — Она околдовала его.

Куда проще!

Следующий день я провел среди лесорубов и остался ночевать у них в бараке. Хотелось побольше разузнать о жене Османа.

И наслушался же я! Одна история невероятнее другой. Но в основе их было то, в чем я убедился сам: там, где живет эта женщина, вещи сами летают по воздуху!!

В бараке жили четыре женщины. И что поразительно: страх заставил их быть верными мужьям, а мужчин — укрощать свои страсти. В лагере не было ни одного недоразумения из-за женщин; царило напряженное спокойствие, которое бросилось мне в глаза еще в первый день.

— Туан, — обратился ко мне один из лесорубов, — переведите нас в другое место. Или заберите Османа и Бару. Осман и его жена водят дружбу с духами. А теперь еще и этот Бара, он даже хуже их. Не боится ничего, хоть бы духи среди ночи на него верхом уселись. А два моих товарища повздорили с ним, так он им такую трепку задал...

Лучшей рекомендации Баре нельзя было придумать.

— Ты как, Бара, выдержишь здесь? — спросил я уезжая.

— Конечно! Останусь, сколько туан захочет.

Первые китайцы

Джаин вернулся через месяц с небольшим. В письме он предупредил меня, что везет пятьдесят китайцев, и просил встретить его в Тавао.

Затем он описывал, как трудно было их завербовать. Пришлось исколесить все побережье — несколько человек тут, несколько человек там. В конце концов собрал всех в Сингапуре и выехал оттуда на английском пароходе.

Я отправился в Тавао на буксире, захватив большую баржу. Мы немножко опоздали; пароход уже стоял у пристани, и Джаин успел сойти на берег со своими людьми.

Я нашел его в китайской лавке. Он был вне себя. Продлись их плавание еще один день, и Джаин либо наложил бы на себя руки, либо пошел бы убивать налево и направо. Новые рабочие были на грани бунта. По словам Джаина, в каждом порту, куда заходил пароход, они пытались сбежать. Только благодаря помощи властей удалось их довести.

В Тавао они выскочили на берег, не дожидаясь меня, и Джаин почти всех растерял. Они грозили убить его, если он не даст им погулять хотя бы неделю, прежде чем отправлять в джунгли. Да еще потребовали от Джаина аванс по двести гульденов на брата. Если ему жизнь дорога.

Когда я вошел в лавку, Джаин отбивал очередную атаку китайцев. Вокруг них толпился привлеченный шумом народ.

Узнав, что я — их будущий начальник, китайцы кинулись ко мне. Не скупясь на крепкие выражения, я приказал им немедленно идти на баржу. Двое схватили с прилавка топоры и замахнулись на меня. Зеваки

разбежались, я же опешил и не мог двинуться с места. Видно, это меня спасло: китайцы решили, что я вооружен и потому не бегу. Они опустили топоры. Подоспел лавочник и усмирил своих соотечественников.

Я пошел к резиденту и попросил выделить мне в помощь полицейских.

Несколько часов длились розыски, наконец полицейские, угрожая карабинами, собрали на пристани сорок человек из пятидесяти прибывших. У китайских кули нередко бывали стычки с полицией, и они ничуть не боялись ее. Только удары прикладами заставили их подчиниться. Резидент обещал выловить и остальных!

— Хорошо, приеду за ними завтра. А сегодня надо доставить на Нунокан этих.

— Не представляю себе, как ты с ними справишься там! Да и довезешь ли? Они же прикончат тебя, как только вы отчалите. Нет, тебе нельзя ехать с ними. Черт возьми, они не боятся ни полиции, ни самого дьявола!

— А я не пушу их на буксир, довезу на барже Сейчас полдень, пусть пожарятся на солнышке. Помнишь, недавно ты разрешил мне забрать ибанов? По-моему, лучше них никто не справится с этими буянами.

— Верно! Помню. Что ж, ладно, в добрый путь!

Если китайцы рассчитывали сразу же по прибытии попасть на берег, то они ошиблись. Бросив якорь на рейде — пусть поостынут, я отправился к мандуру Анаму.

— Я тут привез новых рабочих, да только они дикие какие-то, — сказал я ему. — Неплохо будет, если мандур Анам соберет ребят и проследит, чтобы китайцы вели себя прилично, когда я высажу их на берег.

Анама не надо было просить дважды. Он в двух словах объяснил задачу ибанам. Они обрадовались и заулыбались, словно дети, которым разрешили обогреть новогоднюю елку. Мигом сменили штаны и

рубахи на боевое облачение — красные набедренные повязки, схватили свои добрые старые мечи, которые верно послужили не одному поколению охотников за головами. Одни достали нарядные серебряные пояса, другие навешали амулетов на шею. Наконец все бегом устремились к пристани.

Здесь ибаны выстроились в ряд. Почти нагие, стройные, блестящая смуглая кожа расписана боевыми узорами, глаза сверкают... Двадцать человек против сорока. Зато — настоящие бойцы. И китайцы тотчас поняли это, когда баржу подвели к берегу.

Они ринулись к сходням, ругаясь и ворча, но, увидев ибанов, один за другим примолкли и сникли.

Джаин, который свободно изъяснялся по-китайски, вышел вперед и обратился к ним. Его черные, горящие ненавистью глаза светились мстительной радостью: наконец-то можно было отвести душу, после того какой целый месяц был вынужден молча терпеть все, что они ему преподносили.

Джаин представил им ибанов. Дескать, вот специалисты по обузданию строптивых. И если кто-нибудь позволит себе сказать еще хоть одно наглое слово, достаточно сделать знак ибанам, которым поручено поддерживать порядок здесь, на Нунукане. Что произойдет? Если кому-то не терпится это узнать, он может попробовать прямо сейчас.

Китайцы мрачно косятся на ибанов, на их обнаженные мечи. Слышно чье-то недовольное бормотание. Отрывистый боевой клич, и ибаны подступают к ворчунам. Те в страхе отскакивают. Воцаряется мертвая тишина. Грозная тишина. Ибаны стоят наготове — глаза сверкают, нервы и мышцы напряжены до предела. Китайцы цепенеют от ужаса. Ибаны ждут малейшего проявления непокорности. Какое там!..

Медленно опускаются мечи. Накал глаз ослабеваает, но не гаснет. Китайцы чувствуют: тут шутки плохи.

Сломленные, усмиренные, они вяло бредут к бараку, отведенному им на время, пока они не получат участок в лесу. Их повара принимаются стряпать, остальные разбирают свои сундучки. Переговариваются тихо, с опаской.

Всю ночь возле барака стоял на посту ибан с мечом наголо. Его товарищи были готовы по первому зову ринуться на помощь. Охрану установил не я, а Анам. Мол, лучше предупредить возможные неприятности. Я-то понимал, в чем дело. Он мечтал о доброй потасовке и боялся упустить случай.

За несколько недель из китайцев получилась отличная бригада. Они заготавливали леса чуть не вдвое больше, чем индонезийские рабочие.

И вполне обходились без опиума. Джаин уверял меня, что с китайцами не справиться, если не выдавать им привычную порцию опиума. Тем не менее все шло гладко. Правда, поначалу кое-кто прихварывал, зато потом они были рады, что избавились от порока, и благодарили нас.

Только кули

На рейде Нунукана стоит «Осака Мару»; мы грузим лес. За пять дней надо погрузить три тысячи кубометров. Не успеем, придется платить неустойку — семьсот гульденов в день.

Два люка обслуживают опытные, испытанные бригады. Но у двух других люков работают совсем неопытные кули-макассарцы. Горячий народ, чуть что — за нож, но работники хорошие. Если только найти к ним подход.

Я целый день простоял у люка в роли десятника, чуть не сорвал голос, силясь перекричать скрип лебедок, подгоняя грузчиков. Уже темнеет, а мы погрузили всего пятьсот кубометров. Люди начинают уставать, внимание притупляется. А это опасно, нельзя работать кое-как, когда ворочаешь кряжи весом от трех до тети тонн каждый. Если рабочий на лебедке подтянет трос вместо того, чтобы потравить, или наоборот, — эта ошибка может быть роковой для кого-нибудь в трюме.

Не знаю, то ли он стал хуже слышать, то ли его мышцы плохо подчиняются мозгу, во всяком случае рабочий у моей лебедки уже несколько раз ошибался. И каждый раз кряж катился не туда, куда надо, заставляя грузчиков с бранью отбегать в сторону.

Сейчас на тросе висит качаясь четырехтонный кряж. Его нужно уложить в правой части трюма. В середине образовалась горка, с которой кряжи скатываются в ту или иную сторону. Но им нельзя позволять катиться быстро, иначе можно покалечить и людей и борт. Тут надо действовать не торопясь.

Командую майна; кряж медленно опускается. Вот лег на горку, покачивается. Трос натянут. Два человека

осторожно разворачивают кряж, чтобы придать ему нужное положение. Еще двое ждут внизу у правого борта.

— Готов? — кричу вниз.

— Готов!

Я сигналию, трос разматывается. Что это: кряж повернулся неправильно.

— Стоп! Стоп! — кричат снизу.

Даю сигнал: стой. Но лебедка, завывая, продолжают разматывать трос, и кряж с грохотом катится вниз, к правому борту.

Кули ругаются на чем свет стоит. Они готовились принять кряж, а приходится спасаться от него бегством.

Троим удалось отскочить. Четвертый замешкался на одну — роковую — секунду. Пока он растерянно озирался, кряж отрезал ему все пути. Кули метнулся к борту. Многотонный кряж — за ним... Я орал как сумасшедший: «вира! вира!», но рабочий у лебедки словно оцепенел.

Никогда не забуду выражения дикого ужаса в глазах кули, который пытался уйти от бревна.

Но он не успел. Отчаянно рванулся к другому кряжу, надеясь, что тот задержит сорвавшийся груз. Тут же его ударило по ногам, и он упал. У меня такое впечатление, что удар пришелся по коленям. Если бы он не прыгнул, весь превратился бы в лепешку.

Потрясенный, спускаюсь по узким ступенькам а трюм. Товарищи уже окружили его. Стонет, значит еще жив.

Посылаю за носилками, а сам начинаю осматривать раненого. Кажется, только одна нога пострадала; Колено разmozжено, из него торчат щепки и куски коры.

Мы укладываем кули на носилки, и трос поднимает его вверх; теперь на лебедке стоит другой рабочий.

Виновника аварии Джаин услал на берег, чтобы спасти от взбешенных грузчиков.

Наш санитар доставляет раненого в больницу. Я не знаю даже имени пострадавшего, он всего месяц назад приехал на Нунукан.

Заминка длится всего пять минут, и вот уже опять кипит работа. Наступил вечер, а мы еще не управились; приходится продолжать при свете ламп. Трудно и опасно, но никто не ворчит: все знают, что уходить нельзя, пока мы не погрузим дневную норму — шестьсот кубометров. Настроение подавленное, люди устали, однако мы не сдаемся. Наконец, к одиннадцати часам ночи все сделано; мы до того измотаны, что ни у кого нет сил пойти навестить раненого. Ладно санитар присмотрит...

Капитан судна утешает меня: на Нунукане, мол несчастные случаи редкость. Вот когда мы разгружаемся в Гонконге, там без убитых не обходится. Там еще больше спешат, а рабочих рук хоть отбавляй и никого не трогает, если погибнет несколько кули. Подумаешь, какие-то китайцы, заключает капитан-японец.

Через два-три дня я отвез раненого в больницу в Таракан и попросил врача нефтяной компании, моего хорошего друга, попытаться что-нибудь сделать. Потом за хлопотами я совершенно забыл об искалеченном макассарце.

Спустя несколько недель, снова попав в Таракан, я зашел в больницу поболтать с врачом. Он любил просвещать меня, а знание медицины может оказаться очень кстати, когда живешь в джунглях, отрезанный от всего мира.

— Пойдем, я тебе покажу, что делает с толстой кишкой хроническая дизентерия, — сказал доктор и повел меня в палату.

В огромном помещении не менее сотни больных. Большинство — кули. Доктор идет между нарами и останавливается около одного даяка.

Вдруг больной, лежащий на соседней койке, привстает и, радостно улыбаясь, здоровается со мной.

— У меня все идет хорошо, туан. Скоро совсем поправлюсь. Подумать только, туан пришел навестить меня!

Он горячо стискивает мою руку, на глазах — слезы.

Кто такой? Ей-богу, не могу вспомнить. Доктор приходит на помощь.

— Да, нога у него была — страшно поглядеть. Уж не помню, сколько осколков кости и щепок вытащил. Ничего, теперь пошел на поправку. Правда, колено не будет сгибаться.

И только тут я понимаю: это же тот самый макассарец, которого придавило кряжем.

— Ты женат? — спрашиваю его.

— Да, туан. Жена дома, на Целебесе.

— И дети есть?

— Двое, туан. В этом месяце я не смог послать им денег. Ведь я ничего не получал, пока лежал здесь. Может быть...

— Дай мне адрес, я скажу в конторе, чтобы твоей жене выслали деньги, — прерываю я его.

— По, туан, я наверно не смогу больше работать. Или туан позволит вернуться на Нунокан, когда я выйду из больницы?

— Конечно, возвращайся. Что-нибудь придумаем. Да ты еще снова станешь молодцом.

— Спасибо, спасибо, туан!

Он снова сжимает мою руку. Лицо у него счастливое, словно я посулил ему богатство и славу.

— Вот, пощупай, — вмешивается доктор. — Чувствуешь, не кишка, а туго начиненная колбаса. Тут уж ничего не сделаешь.

Рассеянно отвечаю ему и поскорей ухожу, чтобы не лишать макассарца иллюзии, что я приходил проведать его.

С того дня этот кули считал меня своим другом и благодетелем. Когда он вернулся на Нунукан, я подобрал ему какую-то легкую второстепенную работу.

У нас было несколько таких, как он: бывший десятник, которому на лесопилке искалечило бревном руку, рабочий, который остался без ноги. Еще один повредил руку, и она стала сохнуть.

Я предоставлял инвалидам работу по их силам, сохраняя за ними прежний, достаточно скромный заработок. Они принимали это как неожиданный дар и не знали, как благодарить.

Рабочие-индонезийцы привыкли, что пострадавший от несчастного случая должен винить самого себя. Хозяева не обязаны заботиться о нем.

Еще более рьяно этот взгляд отстаивало руководство компании. Директор громко выражал свое неудовольствие тем, что у меня всякие калеки и старики болтаются без дела и получают деньги ни за что.

Конечно, все зависит от точки зрения. Но, по-моему, пора было приучить индонезийцев, а также некоторых директоров к тому, что забота об инвалидах труда — долг предприятия. А то все привыкли уповать на то, что нищая родня или друзья помогут калеке.

Старый Дулла тоже мозолит глаза директору, особенно подчиненным мне голландцам на Нунукане. С какой это стати я плачу жалованье старику, от которого компании никакого толка!

Старый Дулла знает об этом и ясно дает им понять, что ему наплевать на их мнение и суждения. Старик может позволить себе больше, чем кто-либо другой на Нунукане. От души наслаждаясь этим обстоятельством, он обнажает свой единственный зуб в широкой улыбке.

В Сингапур за китайцами

— Поеду-ка теперь я на месяц, на вербую еще китайцев, — сказал я Джаину. — Моя очередь. А ты покомандуй тут за меня.

— Постараюсь, туан. Если будет очень трудно, попрошу помочь голландца с лесопилки. И потом со мной остается Бара. Он толковый парень.

По говоря уже о деле, и для моей малярии будет полезно, если я вырвусь на месяц из джунглей. Пам нужны еще рабочие, чтобы добиться пяти тысяч кубометров. Кули, которых привез Джаин, лишний раз доказали, что лучших работников, чем китайцы, нам не найти. И ведь мы их удержали без опиума. Многие из них женились и начали откладывать деньги, надеясь со временем купить клочок земли и выращивать овощи на продажу или открыть торговлю мануфактурой и всякой мелочью.

На восточном побережье Суматры, где уже побывал Джаин, мне не на что рассчитывать. Власти просто-напросто запретили ехать туда, боясь утечки рабочей силы. И я решил направиться на Малаккский полуостров, где было много китайских лесорубов.

Из Таракана до Батавии я долетел на самолете, там пересел на пароход, идущий в Сингапур. Компания снабдила меня множеством документов и рекомендаций, и в Сингапуре я мог рассчитывать на содействие голландской миссии и крупных пароходных компаний.

Однако, зайдя в консульство, я обнаружил, что консул — весьма неприветливый господин, который палец о палец не ударит, чтобы помочь мне. Скорее наоборот. Незадолго перед тем он поссорился с

лесопромышленниками, а ведь я имел к ним прямое отношение, так что...

Я пошел к адвокату-англичанину, который обслуживал нашу компанию. Сей мистер довел до моего сведения, что английское правительство категорически запретило вербовку кули в Сингапуре, а если я не подчинюсь, он поставит об этом в известность власти.

Я обратился за помощью к китайскому консулу. Он принял меня очень любезно, но отказался что-либо сделать. Подтвердил, что экспорт кули категорически запрещен. Власти ограждают себя от конкуренции, а то еще придется повышать заработную плату кули.

В том же духе ответил мне и бургомистр-китаец.

Да, неприятно! Неужели так и возвращаться несолоно хлебавши?

Я вернулся в гостиницу, принял ванну, поел и стал размышлять.

Лет пять назад я приезжал в Сингапур, чтобы познакомиться с работой местных лесопилен. Встречался тогда с китайцами-лесопромышленниками. Что, если обратиться к ним? Но как назло, я не мог вспомнить ни одного имени.

Выхожу в темную душную ночь, бреду по залитой электричеством улице, разглядываю витрины магазинов — дорогие украшения и восточные безделушки, наслаждаюсь царящим вокруг оживлением. Наконец останавливаюсь на углу. Словно из-под земли вырастает потный рикша и большим пальцем указывает через плечо на свой экипаж.

Я ненавижу эти коляски. Что может быть унижительнее — запрягать человека в экипаж! И ведь всем известно, сколь короток век рикши.

Я отворачиваюсь, но китаец настойчив. Приветливо улыбаясь, он говорит что-то на непонятном мне языке.

— Отвези меня к какому-нибудь владельцу лесопильни, — говорю по-малайски, скорее в шутку, чем

всерьез.

Китаец энергично кивает. Я забираюсь на высокое сиденье хрупкого экипажа, и мы трогаемся в путь.

Кули полувисит на руках, опирающихся на оглобли. Его ноги легким широким шагом меряют еще теплый от дневного зноя асфальт, но грудь судорожно вздымается, и пот струйками бежит по голой мускулистой спине.

После непродолжительных поисков рикша доставляет меня к лесопромышленнику Чан Юн-фан. Это преуспевающий делец и очень любезный человек. Но главное, он узнает меня: я приходил на его лесопильню.

На столе появляется китайский зеленый чай в тонких чашках. Я объясняю, в чем дело — мне нужно пятьдесят лесорубов для работы на Борнео.

Это проще простого, отвечает Чан. Он с величайшим удовольствием поможет мне. В Сингапуре настали плохие времена, и Чан готов лично доставить на Борнео столько лесорубов, сколько я пожелаю. Сам он будет десятником; плата сдельная, с кубометра леса.

Меня это вполне устраивает, я очень рад, что встретил дельного человека, на которого можно положиться.

Запрет вывозить кули нам не помеха, продолжает Чан. Найдем выход. Китайцы поплывут как обычные пассажиры, а не бригада лесорубов. Чан все берет на себя — бургомистр его друг.

Но где он наберет пятьдесят человек? Здесь в Сингапуре?

Нет, придется отправиться в малаккские леса, искать людей там, по лесосекам. Но просто приехать и выбрать тех, которые понравятся, нельзя. Надо заранее договориться с хозяевами, получить их разрешение. Завтра вечером он познакомит меня с одним из самых знатных и богатых лесопромышленников. Если тот

позволит нам побывать на его предприятиях, все будет в порядке.

Туан даст мне задаток — десять тысяч гульденов, и я все улажу сам. Туану незачем себя утруждать. Достану билеты для кули, выплачу им аванс. Через две недели мы выедем из Сингапура и на Борнео быстро отработаем эти деньги.

Внимательно смотрю на Чана. Ему можно довериться.

На Востоке все улаживается само собой, говорят голландцы. Что ж, иногда их слова как будто оправдываются. Я возвращаюсь в гостиницу в приподнятом настроении. Завтра вечером предстоит встреча с богатым тузом, который скажет нам, где можно вербовать рабочих.

Чаи Юн-фан уверяет, что без опиума и без побоев с этими кули не справиться. Я предупредил его, что на Нунукане об этом придется забыть. У нас дело поставлено иначе, рабочие могут накопить денег и обзавестись семьей.

На следующий день я узнал много нового для себя.

В шесть часов вечера за мной заходит Чан Юн-фан, и мы едем к нему домой. Там я знакомлюсь с китайцем, на лесосеках которого мы будем вербовать кули. Чан Юн-фан — толстый, добродушный человек с располагающей внешностью. Его коллега Кан (далее я не запомнил) далеко не так симпатичен. Жилистый, сухопарый, худое лицо, между тонкими искривленными губами торчат длинные зубы. Он, наверно, никогда не смеется. Плоский нос, одного уха нет — отсек кули, мстя за избиение палками. Кули хотел разрубить Кану череп, да промахнулся. Конечно, его давно нет в живых. Но и хозяева далеко не всегда отделяются так легко.

Ни на минуту не умолкая, Чан наливает нам пиво. После пива подают виски. Несколько рюмок развязывают язык Кану. Он говорит словно через силу,

короткими, рублеными фразами, и речь его представляет собой причудливую смесь малайских, английских и китайских слов. Ему есть о чем рассказать. Лесопромышленник и миллионер Кан начал свой жизненный путь простым лесорубом. Мало-помалу он собственным трудом выбился в люди. Если это можно назвать трудом. Правильнее будет поставить ударение на слове «выбился». Честным трудом еще ни один лесоруб не сколотил себе состояния даже в Индокитае. Что привело Кана в лес, об этом он предпочитает не говорить. К тому же это было так давно, тридцать с лишним лет назад.

— Тогда было куда легче, — говорит Кан. — Я убил десятника, хозяин назначил меня на его место. Два моих друга стали моими подручными. С бригадой все было просто: побольше опиума, поменьше еды. На этом я неплохо заработал. Через год-другой мне поручили еще две бригады. Я уже уразумел, что нужно, чтобы разбогатеть. Опиум и кулак. Плохое питание и низкое жалованье для кули. Хорошая еда и хорошая плата десятникам.

— Да, тогда были другие времена, — подтверждает Чан. — Каждый лесопромышленник в Сингапуре содержал по нескольку убийц. Они расправлялись с теми, кто бежал из Джохора. Беглецы исчезали без следа. В конце концов уже никто не смел убежать, как бы тяжело ни было. Конечно, и в наши дни в Сингапуре исчезают люди, но теперь приходится быть осторожнее. А на Суматре — я там работал у голландцев на побережье — такие вещи вовсе невозможны. Голландцы строже следят за порядком, чем англичане. Мне больше нравится с ними работать, хоть они и не позволяют нам расправляться с кули. В общем-то это даже к лучшему: наказывать кули неприятно, да и опасно. А вот отказаться от опиума, как туан предлагает, — боюсь, тогда у нас ничего не получится.

— Туан не прогадает, если возьмет Чана к себе на Борнео, — говорит Кан. — Чан знает эту работу. А вербовать бригаду без десятника — получится черт знает что. Туан один не управится с ними!

— Может быть, вы поедете с нами, Кан? — спрашиваю я. — Лишние деньги не помешают.

— Нет, с меня хватит. Если б я мог решиться, давно уехал бы домой, в Китай. Разве здесь жизнь!

— Что же вам мешает?

— Нам, людям денежным, нельзя. Сразу же схватят и ограбят. Коммунисты и прочие. В Сингапуре — и то становится небезопасно. Коммунисты появились даже здесь. Вы только подумайте, туан: почти все лесорубы — коммунисты. Так что будьте начеку! Они при первом удобном случае свернут шею туану.

— Черт возьми! Неужели здесь так много коммунистов?

— Всё русские виноваты, это их штучки!

— Конечно, плохое обращение с рабочими ни при чем!

Кан настороженно смотрит на меня. Чан хохочет.

— Хорошо обращаться с кули — все равно, что подставить голову под топор, — злобно кричит Кан.

— Давайте-ка закусим, — перебивает его Чан. — Но сначала надо выпить! Туан любит суп из акульих плавников?

— Очень люблю! Особенно с крабьей икрой!

— Икры нет, но туан останется доволен!

Нам подали изумительный суп. Дальше последовало еще около десятка китайских блюд — от ласточкиных гнезд, утиной кожи и бамбуковых побегов до приготовленной особым способом свинины с ломтиками ананаса. Она появилась как раз в тот миг, когда я заявил, что больше есть не в силах. Чан ответил, что от этого блюда не откажется даже самый сытый человек. Он был прав.

Затем Чан хлопнул в ладоши, и две девушки принесли нам шампанское. Им еще нет и двадцати, они очаровательны, словно китайские картинки. Круглые розовые щечки, фарфорово-белая кожа. Черная челка, черные глаза, влажные от смеха. Или от слез. Стройные миниатюрные фигурки облачены в великолепные платья из белого шелка. Высокий воротник, короткий рукав, широкая юбка до пола, с многозначительным разрезом на боку.

Девушки налили шампанское в бокалы и поднесли нам огня прикурить, все время улыбаясь, боязливо и немного искусственно. Так называемые макаоские принцессы... Очаровательное наименование для маленьких рабынь. Родители или бандиты продают их в Макао богатым китайцам, которые увозят девушек в Сингапур, Батавию, Сурабаю или другие места, где они становятся игрушками не обремененных совестью капиталистов.

Проведя за столом еще несколько часов, мы условились на следующий день побывать на участках, принадлежащих Кану, посмотреть на его предприятия, на рабочих.

Наконец Кан собрался домой. Он подозвал своего рикшу, который спал, ожидая его, на улице, и по асфальту зашлепали босые ноги.

Чан провел меня во внутренние покои. Здесь стояли резные столики и стулья с перламутровой инкрустацией. Тусклый светильник озарял большую кровать с розовым пологом от москитов.

Вошли три девушки и наполнили наши бокалы. Чан что-то тихо сказал им и ушел.

Я остаюсь наедине с маленькими принцессами. Одна из них тоже уходит, две другие присаживаются к столу со мной.

— Кан-пе! — Они поднимают бокалы. — Ваше здоровье!

Обращаюсь к ним по-малайски. Они плохо владеют этим языком, зато выясняется, что одна из них довольно сносно говорит по-английски. Ее зовут Лан.

— Где вы учились английскому языку, Лан?

— В Шанхае. Мой отец был учителем.

— Учителем? Но, но... как же?

— Он умер. Его убили.

— Я слышал, в Китае сейчас опасно?

— Да. И оба моих брата убиты. Иначе... иначе я не была бы здесь. Наверно, мама и сестры тоже умерли.

Она наклонила голову, и я не вижу ее глаз. Но голос звучит твердо, бесстрастно.

— Почему? Почему всех ваших родных убили? Бандиты?

— Мой отец был коммунист. Ему не удалось вовремя бежать. А мама болела. Я попала к дальнему родственнику. Он выдал меня замуж за человека, которого я совсем не знала. Тот привез меня в Гонконг, а из Гонконга сюда. Я осталась одна на свете и не могла ничего сделать.

Лан поднимает бокал, отпивает глоток вина. Рука дрожит. Видно, алкоголь подействовал на нее, вот и разговорилась.

— Я очутилась в Сингапуре. С другим мужчиной. Он отдал меня старику, который больше года держал меня взаперти. Потом я попала в дом, где девушки, много девушек...

Лан поднимает глаза. Вижу, что она не выдумывает. Но слез, которые я, настроенный всем выпитым на чувствительный лад, ожидал увидеть, — нет. У Лан суровые глаза. Суровые и бесстрастные. Как знать, за кукольной внешностью может прятаться ненависть.

— Эти девушки, которые сегодня пришли со мной, — продолжает Лан по собственному почину, — моложе меня. Они здесь недавно. Из деревни, в школе не учились. Дома нечего было есть, вот родные и продали

их хозяину земли, на которой работали. Потом девушки попали в Макао, а оттуда в Сингапур. Все-таки лучше, чем умереть с голода...

— Видно, в Китае сейчас тяжелые времена, Лан. Может быть, там слишком много народу живет, но хватает земли?

— Возможно. Но богатых тоже много.

— Да, да! И они предпочитают покупать молодых рабынь, чем помогать бедным.

Мне совестно за себя, за плоские истины, которые я изрекаю. Я же сам в одной компании с рабовладельцами. Сквозь туман вглядываюсь в глаза Лан, ищу в них ненависть. Она делает рукой усталый жест в сторону кровати. Хочет поскорее отделаться и уйти. Вторая девушка присаживается на край кровати и зевает.

— Лан, по-моему, твой отец был прав. По-моему нужно, чтобы было много коммунистов и в Китае и здесь. Мир устроен плохо. Уведи с собой свою подругу, Лан. Я буду спать один.

Протягиваю ей несколько бумажек. Она рассматривает потертые ассигнации с изображением короля и медленно прячет их в сумку.

— Отец говорил: если мы поделим землю, никто в Китае не будет умирать с голоду, и все смогут ходить в школу. Говорить такие вещи было опасно, очень опасно. Он поплатился жизнью.

— Гуд найт! Камсиа — спасибо, — говорит она напоследок и чуть щурит глаза, изображая улыбку.

* * *

Дорога, которая ведет из Сингапура на север, в дремучие леса Малакки, пересекает бескрайные посадки ананаса, изредка чередующиеся с каучуковыми плантациями. Деревья сбрасывают листву, она пылает огненными красками осени, а небо дождливое, серое. Серо и у меня на душе.

Чан сидит рядом сонный с похмелья. Едем уже но первый час, а впереди еще долгий путь.

— Эти девушки, Чан, сироты? Почему их продают?

— Да, сироты. А если у кого и есть родители, то такие, что вовсе не заботятся о своих детях.

— Но ведь они те же рабыни. Неужели здесь, в Сингапуре, это разрешено?

— Официально они замужем. Иначе их могут и не пустить в Сингапур. Не дадут паспорта.

— А может такая девушка уйти, если захочет? Скажем, найдет себе человека по душе?..

— Куда же она денется от своего «мужа»? Он ее разыщет через полицию. А что муж разрешает ей ходить к другим мужчинам... это уж его дело...

— Н-да, не удивительно, что здесь и в Китае становится все больше коммунистов. Богатые обращаются с бедными хуже, чем с животными!

— Только самые красивые девушки еще могут на что-то рассчитывать. А остальные? Им — умирать, либо с голода, либо от тяжелой работы. И таких миллионы, много миллионов. Так почему не помочь тем, кто покрасивее! Что ни говори, — им куда лучше живется, чем остальным!

— Верно! Об этом я не подумал. Выходит, эта работоторговля — чистое благодеяние!

Чай только смеется. Потом продолжает:

— Коммунисты бешеные. Им бы только грабить и убивать. Пока не истребят всех коммунистов, в Китае не будет порядка.

«Или пока коммунисты не истребят работоторговцев и эксплуататоров», — думаю я. Но какой смысл говорить такие вещи Чану.

* * *

Под вечер мы добрались до первой лесосеки. В колючих зарослях — потные желтые тела, крики, брань... Два десятка жилистых силачей волокут сквозь зелень джунглей огромный розовый ствол. словно трудолюбивые муравьи, облепившие щепку, тянут, толкают, катят.

Сразу видно: эти парни знают свое дело. Настил сделан безупречно. Салазки легче и в то же время прочнее, чем у нас на Нунукане. Люди работают живее и слаженнее любой бригады, какую мне доводилось видеть до сих пор. Все до мелочей продумано и превосходно организовано. Они в совершенстве постигли искусство трелевки в джунглях без помощи механизмов.

Я увидел, что поперечины сделаны из самых твердых пород и обильно смазаны посередине, чтобы лучше катились салазки. Они лежат абсолютно ровно на толстых бревнах, в зарубках, не дающих поперечинам: смещаться, а кое-где даже привязаны ротангом. Через овраги перекинута несложные и прочные мосты. Салазки уже наших, но при таких ровных настилах это не страшно, не опрокинутся.

На рубке стоит один человек. Тяжелым топором, насаженным на длинное топорщице, он валит в день пять-шесть великанов. Другой, тоже в одиночку, распиливает ствол на кряжи.

Согнутые нотные спины с буграми железных мускулов. Сосредоточенный взгляд черных глаз. Тяжело вздымается грудь, рот застыл в напряженном оскале. Широкие, сильные ступни цепко, как руки, хватаются за поперечины, когда запряженное в лямку, изогнутое дугой тело всю силу вкладывает в рывок. Ни смеха, ни улыбки. Не слышно шуток и нет ни единой минуты передышки. Лишь грязная ругань десятника и дружные выкрики тягалай.

Без опиума вряд ли Кан смог бы сделать их рабами. Без опиума не удалось бы заставить людей жертвовать здоровьем и жизнью из-за проклятой древесины. Без опиума хозяин не мог бы эксплуатировать рабочих, обращая их труд в золото и в макаоских принцесс. Опиум — всемогущий дух, помогающий бесцеремонным негодьям, тем, кто готов топтать все на своем пути.

Не удивительно, что англичане пошли войной на китайцев, когда те попытались избавиться от могущественного духа, который всегда стоит на стороне эксплуататоров, против бедного люда.

На следующий день мы осмотрели еще две лесосеки. И всюду одна и та же гнетущая картина — выбивающиеся из сил, обреченные люди.

Чап переговорил с десятниками и кули и пришел к выводу, что сможет без особого труда набрать пятьдесят человек. Лишние люди есть на многих участках. Сами кули только рады были попытаться счастья в другом месте.

— Выдам им небольшой аванс, чтобы рассчитались с долгами, — объяснил мне Чан. — Зато они станут нашими должниками. Через несколько дней выедут в Сингапур. За две недели я добуду билеты, улажу все остальное, и мы отплывем из Сингапура.

— Идет. Значит, увидимся в Батавии.

Я вручаю Чану десять тысяч гульденов. Мы ударяем по рукам и расстаемся.

* * *

Прибыв на Нунукан, мы прежде всего договорились, что с опиумом будет покончено. Ведь удалось же излечить китайцев, которых привез Джаин. А пока они отвыкали от наркотика, я выдавал им лекарство.

Скоро кули работали уже в полную силу. Никаких осложнений не было. Они стали веселее смотреть на жизнь. Перестав курить опиум, начали копить деньги. Некоторые женились на женщинах из Тавао. Я охотно отпускал их за невестами. Знал, что семья и дети помогут им избавиться от пороков и от склонности к буйству. За первые четыре месяца сыграли четыре свадьбы.

Одержимость и суеверие

Джонгос стал обезьяной! Джонгос стал обезьяной! Скорее иди сюда, усмири его! — кричит Сари (джонгосом называют в Индонезии слугу, поваренка, боя).

Я как раз собирался сесть за стол завтракать, когда услышал ее голос. Она была в кухне. Оттуда доносился страшный шум, вопли.

Кухня — длинный сарай, который соединен с моим бунгало десятиметровым коридором. Прибегаю туда и вижу, как джонгос кусает за руку поварику.

Хватаю Амина (так зовут джонгоса), выворачиваю ему руки за спину. Он скалит на меня зубы и визжит, точь-в-точь как разъяренная обезьяна. Появляется; Асао, помогает мне держать Амина. Он возился с мотором на пристани и там услышал шум.

Амин словно обезумел. Шипит, кричит, брызжет слюной, щелкает зубами, приседает на корточки, — словом, ведет себя по-обезьяньи. Маленькая ручная макака испуганно взвизгивает, когда мы тащим Амина мимо ее клетки. Они всегда так дружили...

Чтобы справиться с Амином, приходится звать на помощь полицейских. Общими усилиями водворяем его в нашу так называемую тюрьму: дощатый сарай без окон, предназначенный для убийц и сумасшедших. Амина, судя по всему, вполне можно отнести ко второй категории.

Но это не обычное сумасшествие: очень уж странно он ведет себя. Глядя на Амина, все готовы поверить, что и него «вселилась» обезьяна. Это бывает в здешних краях. Такие вещи нужно знать, когда в твоём подчинении несколько тысяч человек различных восточных племен и религий; то, что мы называем

фантазией или суеверием, они твердо считают реальностью. Тому, кто не знает этого и не понимает причин «суеверия», трудно ладить с местным народом.

Вера творит чудеса. Вера сдвигает горы. Это не пустые слова. На Востоке верят неизмеримо сильнее, чем у нас, на Западе. Амин поверил, что в него вселилась обезьяна, что он стал обезьяной, — вот он и ведёт себя, как обезьяна. Это был своего рода душевный разлад, раздвоение личности. Ученые говорят: шизофрения.

Наблюдая за Амином через щель в стене его «камеры», мы видели, что он ни на минуту не выходит из своей «роли». Он был настоящей обезьяной. Не лег на нары, а присел на корточках в углу. Голова дергалась по-обезьяньи, руки непрерывно шарили по волосатым ногам. Мы постучали в стену — он злобно оскалил зубы и закричал, как макака.

Под вечер мы поставили Амину тарелку риса, быстро захлопнули дверь и стали наблюдать.

Он набросился на рис и торопливо, нервно обеими руками набивал им рот, пока щеки не вздулись, как шары. Глаза все время беспокойно рыскали по сторонам.

Всю ночь Амин просидел на корточках в углу. Прийдя утром, мы ласково заговорили с ним, но тщетно старались добиться от него членораздельного ответа.

Правда, полицейский, который сторожил его, днем уловил отдельные слова. Амин упоминал царя обезьян Ханумана и его придворных. Очевидно, он вообразил себя одним из приближенных Ханумана.

Амин — яванец и, хотя придерживается мусульманской веры, знает множество песен из Махабхараты и Рамайяны. Это индуистское наследство его народа, все мышление которого пронизывает вера в то, что песенные герои и озаренные неземным светом

полубоги и духи жили на самом деле. Вера эта наполняем неведомыми нам красками и смыслом духовную жизнь яванцев. Древнее наследство во сто раз ценнее всех материальных благ, которые им принесли европейцы, и, пожалуй, ценнее всего, что им дал ислам.

Царь обезьян Хануман — очень видная фигура, к тому же для многих он по сей день самое близкое и понятное существо из нематериального мира.

И выходит, что превращение Амина в обезьяну не так уж странно и смешно, как может показаться с первого взгляда. Он ведь стал высшим существом — приближенным Ханумана.

Амину это было очень кстати. Он немало задолжал во всех китайских лавочках Нунукана, а работал так скверно, что я два раза уже грозился выгнать его.

Превращение в обезьяну освобождало его от всех неприятностей. И все-таки он не намеренно играл роль!

Теперь надо было придумать, как изгнать обезьяну из Амина.

Я отвез его в Таракан и обратился к своему приятелю-врачу.

Он все понял и сразу подтвердил, что тут нет ни игры, ни притворства. Амии болен, у него душевное заболевание, особого рода истерия, довольно распространенная на Востоке. Здешние люди куда впечатлительнее нас, европейцев, и у них неустойчивая психика.

Бывает и у нас: ребенок с таким жаром играет в лошадку, что сам чувствует себя настоящей лошадью, повторяет ее движения, «ржет» и обижается на взрослых, если они не принимают всерьез его выдумку.

Для восточного человека почти нет грани между воображаемым миром и действительностью, здесь и взрослый может вообразить, что превратился в лошадь, свинью или обезьяну. Даже в духа или бога. Он и сам

настолько в это верит, что надолго впадает в истерическое состояние и ведет себя, как то животное или сверхъестественное существо, которое «вселилось» в него.

Короче говоря, доктор признал, что бессилён помочь нам. Он попробовал успокоить Амина словесным внушением, но безуспешно.

Старый Дулла только посмеивался, глядя на это. Он же говорил — не может европейский доктор изгонять духов! Тут нужен дукун. И Дулла назвал нам одного старика яванца, который жил в деревне Симпан-Тига, неподалеку от Таракана.

Отправились к дукуну. Точнее, поехали на машине. Амин сидел связанный между Дуллой и десятником, которого мы захватили с собой, скрежетал зубами, шипел, дергался.

И вот — дукун, почтенный старец в национальной одежде, даже кинжал на боку висит.

Он долго смотрел на кривляющегося Амина. Дулла рассказал ему, что случилось, и попросил поскорее изгнать духа из несчастного парня.

Дукун, ничего не говоря, вышел и принес глиняное блюдо, на котором лежали раскаленные угли и куренья, — этот прибор необходим, когда произносят заклинания.

Мы усадили Амина на Пол в хижине. Хозяин сел напротив, скрестив ноги. Курильница стояла между ними. Дукун раздул угли и, качаясь, быстро-быстро начал бормотать заклинания. Он говорил тихо, но иногда вдруг возвышал голос до крика.

Дым, клубясь, наполнил всю комнату синей мглой. Старик сыпал слова, как горох. Было видно, как Амин мало-помалу успокаивается.

Дукун наклонился над курильницей, взял Амина обеими руками за голову, несколько раз быстро провел ладонями по его телу, строгим голосом бормоча какие-

то приказания духу. Слышу, он произносит имя Ханумана и повелевает вселившейся в Амина обезьяне немедленно выйти вон.

И совершается чудо! Вздрогнув, Амин падает навзничь, его спина напрягается, словно в судороге, затем напряжение сходит, он растерянно озирается по сторонам. Взгляд у него уже не животный, не обезьяний, перед нами опять покорный джонгос.

Дукун быстро развязывает веревку, Амин встает, удивленно глядит на нас и что-то бормочет.

Дукун рассказывает Амину, что с ним было, советует принести богам в жертву курицу и немного желтого рису в ближайший четверг. Почтительно выслушав его, Амин смиренно благодарит за помощь.

Дулла говорит дукуну, что мы пришлем ему вознаграждение, и мы едем домой. Амин здоров и чем-то смущен, хотя явно не подозревает, что творил под влиянием «одержимости».

Дукун вовсе не мошенник. Он в самом деле может излечивать, потому что и он сам и его пациенты верят в это. Я потом не раз с ним встречался; насколько я мог судить, он никого и никогда не обманывал. Старик охотно признавал, что есть много больных, которым он не в силах помочь. Таких он отсылал в больницу. Зато он излечивал людей, для которых настоящий врач ничего не мог сделать.

Одним из них был мой десятник — буг Лабота. У него отнялась правая рука. По-моему, виновато было суеверие. Чистойшей воды суеверие вкупе со самовнушением привело к вполне реальным и ощутимым последствиям.

Лабота позволил себе заглядываться на младшую из двух жен хаджи Дуллы. Хаджи Дулла был весьма почтенный ученый господин; даже смотреть на жену этого святого человека было со стороны Лаботы великим грехом.

Хаджи Дулла только что прибыл на Нунокан из города Банджермасина, чтобы проповедовать нуноканцам ислам. Он еще не привык к нашей несколько вольной жизни в джунглях и не хотел считаться с тем, что джунгли во многом определяют наши взгляды на жизнь и взаимоотношения людей. Он знал только городскую жизнь и мог любому втолковать, как правоверному надлежит относиться к замужней женщине!

Я-то считаю, что напрасно хаджи Дулла не предоставил Аллаху самому покарать Лаботу. Тем более что хаджи не мог доказать, выходила ли вольность Лаботы за пределы невинных взглядов на его жену. Правда, люди говорили, что Лабота не только смотрел на маленькую банджарку, но и прикасался к ней.

Но хаджи Дулла не очень-то надеялся на желание Аллаха наказать преступника. И он обратился за помощью к нашему нуноканскому дукуну. Это был старый буг, бывший пират. Я ему не доверял, хотя он подчеркивал свое расположение ко мне. По-моему, как раз этот дукун был обманщиком.

Так или иначе, дукун обещал хаджи наказать Лаботу.

Тут же при нем он сделал маленькую куколку, которая изображала преступника. Потом возжег, как положено, курения и, бормоча заклинания, вывернул куколке правую руку. После чего вручил куколку хаджи, велел подбросить ее под койку Лаботы.

Хаджи так и сделал. Вероятно, ему помогал кто-нибудь из товарищей или подчиненных грешника.

Вскоре до Лаботы дошло, что дукун обещал наслать порчу на его правую руку.

Что же вы думаете: через неделю после того как хаджи побывал у дукуна, Лабота поскользнулся и упал на лесоскладе. Упал так, что ушиб правое плечо.

На следующий день рука отнялась.

Доктор в Таракане определил, что главный нерв, управляющий рукой, поврежден как раз в плече. Просто необъяснимо — ведь ушиб был совсем слабый. Врач предложил сделать операцию, но Лабота не захотел.

Удивительное совпадение, скажет иной. А мне кажется, все дело в том, что Лабота нерушимо верил в колдовскую силу этого жулика-дукуна.

Прошли три-четыре месяца. Рука Лаботы оставалась парализованной, только пальцы чуть шевелились. Доктор велел ему каждый день перебирать пальцами вверх по стене, чтобы за кистью следовала вся рука. Но Лабота не послушался, считая эту гимнастику ерундой.

В конце концов врач заявил, что теперь Лаботе уже и операция не поможет.

И тут кто-то повез Лаботу к тому самому дукуну в Таракане, который вылечил Амина. Дукун произнес свои заклинания, подымил и сказал Лаботе, что через неделю он будет здоров.

Прошла неделя, и Лабота действительно исцелился.

Таким образом, хоть нунуканский дукун и был жуликом, он мог наслать «порчу». Иногда ему удавалось излечивать больных. Его лечение было сплошным надувательством, но вера пациента обеспечивала успех.

Так было с Джаином. Он положил немало трудов, чтобы мы смогли наконец добиться заветных пяти тысяч кубометров. А когда мы этого достигли, у него: работы не убавилось, а стало еще больше. И у Джаина сдали нервы, он ходил злой, раздражительный. Раз даже на меня огрызнулся, когда я спросил, почему он не докладывает мне, как идут заготовки в Ментсапе.

С ним явно творилось что-то неладное. Он сам понимал это.

— Тебе нужно отдохнуть, Джаин. Ты совсем заработался. Возьми несколько дней, — посоветовал я ему.

— Нет-нет, работа ни при чем. Это кто-то хочет мне повредить. Порчу напустил. У меня с головой что-то не в порядке.

— Отдохни неделю-другую.

— Я лучше пойду к нашему дукуну, туан. Может, он узнает, кто мне козни строит. Врагов у меня хватает. Кого отругал за лень, а кого и выгнать пришлось.

И Джаин обратился к дукуну. Через несколько дней тот пришел вечером к Джаину и принялся ползать на четвереньках вокруг дома и под ним — проверял, не зарыто ли в землю какое-нибудь колдовство. Почему-то особенно долго искал он под домом.

Дукун ничего не нашел, хотя, по его словам, явственно чуял какую-то нечисть. Наконец он пообещал завтра попробовать еще раз.

И что же! На следующий день он почти сразу обнаружил под домом Джаина куколку. Тряпочную куколку в несколько дюймов длиной, проколотую насквозь иголками.

Куколку обезвредили и сожгли по всем правилам.

Джаин мгновенно исцелился, его нервозность исчезла без следа.

Я но стал говорить ему, что, по-моему, этот мошенник дукун сам закопал в землю куколку, когда ползал под домом в первый вечер. Зачем расшатывать веру Джаина? Ведь она излечила его!

Кровожадный дикарь

Всю ночь бушевал шторм, лил дождь. Тропический ливень — несколько сот миллиметров.

В пять часов утра — еще не рассвело — я вылезаю из-под сетки, которая защищает от комаров мою кровать. Сари встала раньше и уже готовит кофе.

Прохожу в «ванную», обливаюсь водой. Вернувшись, встречаю у крыльца Джаина.

— Туан! Лес ушел! Прорвало оба заграждения, склад почти пуст. В полночь прорвало. Я не спал из-за бури. Боялся за лес. Несколько раз ходил проверять. Смотрю — течение понесло кряжи. И ничего нельзя сделать! Ветер, темень, на лодке не выйдешь!

— Вызови Асао и буксир!

— Уже, туан!

— Тогда едем. Как течение?

— Как раз поворачивает, туан. Начинается прилив. Он сегодня сильный, так что течение быстрое.

— Вот и хорошо! Понесет лес назад, в нашу сторону.

Входит с кофейником Сари, останавливается, прислушиваясь к нашему разговору.

— Ты уходишь?

— Конечно!

— Я не успею сварить тебе овсянку? Хав-ре-грюнс-грет, — смеясь, добавляет она по-шведски.

— Нет, нужно спешить! Потом перекушу!

— И я с вами!

— Ни в коем случае! Нам надо работать, тебе там будет совсем неинтересно.

— Откуда ты знаешь, что мне интересно и что неинтересно!

— Знаю! До свиданья, Сари! Поставь для меня в холодильник что-нибудь вкусное. Вернусь ночью.

Глотаю кофе и выхожу. Сари машет мне, пока я не исчезаю во мраке.

Джаин вызвал не только Асао и буксир. Спустившись на пристань, я увидел отряд бугов.

— Вот, туан, захватил с собой людей. Проверим, на что они годны.

Они приехали к нам всего неделю назад, эти крестьянские парни из Паре-Паре на Целебесе^[16], которые решили отправиться на заработки в чужие края. Слышали, что на Борнео с работой лучше, чем у них на родине.

— Пять человек поедут со мной на моторке, — распорядился я. — Джаин, ты сядешь на буксир. Ловите по пути все кряжи и кратчайшим путем тащите к берегу. Я буду вязать плоты, увидите — тоже подбирайте.

Буксир трогается и, минуя мыс, выходит в пролив между Нунуканом и Себатиком. Курс — в открытое море. Скорость буксира — девять узлов. Моя моторка делает все одиннадцать. Проносимся мимо буксира, но уже светает, так что мы не теряем его из виду.

* * *

Только что море было однотонным. Густо-черное полотно ожидало, когда стремительно приближающийся день расцветит его. Вот оно засверкало черным лаковым блеском. Небо сереет, звезды гаснут. Миг — и утро все залило своими красками — розовой, оранжевой, зеленой, голубой, алой, золотой... Небо и море исполнены такой ослепительной красоты, что Вселенная не может налюбоваться собой.

Быстро, удивительно быстро наступает день. Из-за восточного мыса Себатика выглянула раскаленная макушка солнца, розовея от восторга в утренней мгле. И тотчас пропадают почти все оттенки. Остались только солнечное золото и небесная синь да ленивое темнозеленое море под ними.

Асао щурится навстречу яркому солнцу. Лодка прыгает с волны на волну. Расправив крылья, спасаются бегством летучие рыбы, но дельфины подходят вплотную и лукаво глядят на нас. Ну-ка, догоните, говорят они. Скалят в улыбке зубы и проносятся мимо, словно торпеды, оставляя нас далеко позади.

Черт бы вас взял! Хорошо вам играть! А мы должны искать уплывший лес.

* * *

После часа езды нам попадаются первые кряжи. Асао привычно разворачивает лодку бортом к одному из них. Вбиваем в него железный костыль с кольцом — у нас их с собой около ста.

В кольцо продеваем ротанговый канат и идем дальше, волоча кряж за собой. В следующий кряж тоже вбиваем костыль. Связываем эти кряжи, оставляем их, ловим третий и подтаскиваем его к двум первым. Собрав пять кряжей, делаем небольшой плот и отпускаем его.

Еще пять кряжей — еще плот.

За вторым плотом — третий, четвертый. Вскоре их становится десятка полтора. Буксир собирает плоты и тянет к берегу.

А вот по течению вдоль берега плывет сразу несколько кряжей. Здесь так мелко, что можно идти

вброд и толкать их перед собой.

Поначалу буги не решаются прыгать в воду, — должно быть, боятся акул и крокодилов. Но я, не раздумывая, шагаю за борт, и, подгоняемые соленым словом Асао, который отчитывает их за трусость, они следуют за мной.

Да это отличные работники, боевые ребята! Видя, что я не боюсь, они быстро смелеют и стараются перещеголять меня. Ныряют, толкают, тащат... Уже готов плот из двадцати кряжей. Привязываем его к дереву на берегу и начинаем собирать следующий.

Работаем без передышки, не считаем минут и часов, видим только огромные ныряющие кряжи, которые море задумало отнять у нас. Не думаем ни об акулах, ни о крокодилах. Забыли об усталости, о еде.

Время за полдень. Раскаленное солнце клонится к западу. Но в море еще плавают сотни кряжей. Течение повернуло и снова относит их от берега. Мы подходим к лесоскладу. Буксир успел доставить сюда несколько сот кряжей.

Снова идем в море, вяжем одни плот за другим. Желудок свело от голода, но есть некогда. Каждый спасенный кряж — это по меньшей мере двадцать гульденов. В кряже в среднем три кубометра, по семи гульденов за кубометр.

Не потому ли тридцать человек, и я с ними, трудятся с опасностью для жизни, выбиваются из сил?

Нет! Мы не можем позволить морю отнять то, что с таким трудом добыто нами в джунглях.

Вечер застает нас вдали от дома, у восточной оконечности Себатика. Все до смерти устали. Бензин кончился, весь наш запас — тридцать литров. Вон там буксир рокошет, ткнет плоты. Подъезжаем заправиться горючим и узнать, нет ли риса.

Рис есть. И рис, и рыба. Даже соль нашлась.

Мы уписываем за обе щеки. Асао сияет. Вот это жизнь! Он водит лодку, как бог, работает, как черт, ест, как волк. Буги тоже довольны. Сегодня компания угощает рисом, говорят они. Нажимай, ребята, ешь до отвала!

Наконец желудок набит, и я могу осмотреться. Вижу, что Джаин привез нескольких ибанов — Банао и его друзей.

— Я знал, что к вечеру буги вымотаются, вот и забрал подкрепление днем, когда заходил на Нунукан. Теперь и после заката можно работать.

Буги и впрямь устали. Но это крепкие парни, они привыкли к гораздо более тяжелой работе дома в поле. И мы продолжаем искать бревна в темноте, пока не убеждаемся, что это бессмысленное занятие. Наконец идем к берегу Себатика, бросаем якорь и ложимся спать.

Утром, когда мы проснулись, шел дождь. Небо угрюмое, серое; по счастью, больше двух дней в году такой погоды на Нунукане не бывает.

— Туан, — говорит Банао, — у нас ни риса, ни рыбы нет, а нам еще целый день работать. Давайте сперва поохотимся!

— Ты с ума сошел! Надо кряжи собирать, а не охотиться. Да я и ружья-то не захватил.

— А мы с копьем пойдем, туан. Здесь оленей тьма. Только двое, туан и я. Остальные будут работать.

Банао умоляюще смотрит на меня, даже за руку взял.

— Ладно! Пошли, — говорю я. — Джаин, ты будешь тут руководить, а мы с Банао добудем мяса. Вернемся ни с чем — пусть Банао будет стыдно.

* * *

Джунгли промокли насквозь. Идешь будто по озеру, густому зеленому озеру. Земля скрыта под водой, заросли насыщены, напоены, затоплены водой. А вода все прибывает.

— Уж очень сыро, Банао! Ни одного запаха не услышишь! Где тут найти оленя...

Банао не отвечает, молча крадется впереди меня сквозь колючие заросли. Он держит копье за наконечник, древко волочится по земле. В другой руке у него огромный нож. Правда, нож сейчас почти не нужен — мы идем звериными тропами. Они, как туннели, пронизывают кустарник. Выпрямиться нельзя, идешь согнувшись. А местами мы даже ползем.

Вода капает, булькает, льется и почти заглушает голоса птиц и лягушек, стрекот цикад. Капли бьют о листья и ветки, струйки журча текут по стволам и бегут по земле — и все это сливается в один сплошной гул, в котором тонет звук наших шагов. Не нужно стараться ступать бесшумно.

Мы принюхиваемся совсем по-собачьи. Ветра нет. Воздух неподвижен. Да в этом зеленом океане больше воды, чем воздуха...

Сквозь листву поблескивают холодные глаза нитона, свернувшегося в пестрый клубок. Крохотный олененок улепетывает от человека. Кричит испуганный фазан. Но никакого намека на оленей — ни запаха, ни крика. И кабаньего следа нет.

Громадные зеленые листья окатывают нас водой. Колючий ротанг царапает до крови. Голые икры облепили пиявки, кусают муравьи. Вспугнутые птицы-носороги осыпают нас проклятиями.

Кругом — будто жидкая зелень. Или — зеленая жидкость?

Все гуще и гуще заросли, все злее и злее колючки.

Скоро мы будем насквозь пропитаны водой. Мне чудится, что я сливаюсь с этой жидкой вездесущей зеленью.

Чу! Среди запутанных лиан я вдруг улавливаю запах оленя.

А Банао?

— Тс-с-с! — шепчу я. — Паяо! (олень).

Банао кивает и пробирается дальше. Его рука перехватила копьё пониже. Зачем, ведь рано еще!

Я по-прежнему волочу копьё за собой. Чувствую острие, предназначенное для того, чтобы вонзиться в живое тело.

От запаха дичи рождаются неожиданные мысли и чувства, во мне разом просыпается охотник.

Идем все быстрее по оленьей тропе. И как только ухитряются проходить здесь рослые олени? Я почти все время вынужден ползти на четвереньках. Вот следы, их отчетливо видно на сырой земле. Все сильнее слышен густой сладковатый запах оленя.

Став за поваленным деревом, смотрим вперед, куда уходит маленький ручей.

Вон дрожит листик. И качается свисающая лиана. Ветра нет — значит...

В переплетении ветвей ничего не разглядишь. Но я чувствую — олень там! Не окликаю Банао, ползу по еле заметной тропе-туннелю.

Постепенно зелень редет — и я вижу оленя.

Это самка. Наклонив голову, она на полусогнутых ногах буквально извивается, пробираясь сквозь заросли. Двигается бесшумно, и лишь чуть-чуть колеблются листья и сучки.

Она, конечно, заметила нас, но не хочет порывистым движением выдать себя. Надеется ускользнуть незаметно.

Смотрю, как замороженный, на стройное, красивое животное.

И вдруг вижу ее глаз. Большой и темный, он смотрит прямо на меня. Скопился назад; мелькнул белок. Опять — на меня, и — пропал, не видно больше.

Никогда не забуду этого взгляда. Как будто самка меня просила о чем-то. И я чувствовал, что она не боялась меня.

А через несколько секунд я понял, что она хотела мне сказать: «Не напугай моего ребенка!».

Олененок идет за ней метрах в десяти. Крадется так же осторожно, как мать. Уши нервно ловят звуки. Огромные раструбы на красивой головке с черными глазищами. Вижу влажные зрачки. Маленький житель джунглей — и человек; но малышу невдомек, чем грозит эта встреча.

Охотник во мне умер.

— Самка с теленком, — говорю я Банао.

Мы уходим вверх по ручью искать самца.

Снова продираемся и ползем сквозь заросли. Перешагиваем через глубокие лужи и жидкую грязь.

Время от времени слышим слабый запах оленя.

Ух, как сильно! Он только что прошел тут. Судя по следам, это крупный самец.

Ну, Банао! Вперед, осторожно! Уж этого мы не упустим.

— Туан, — шепчет Банао. — Так ничего не выйдет. Кто-нибудь один должен стать в засаду. Лучше сам туан. Наверно, олень пошел вверх по ручью. Я подожду здесь, туан зайдет спереди. Кругом идите.

Иду в обход и думаю, что это впустую. Все равно без собаки днем оленя не загнать. А хотелось бы увидеть его при дневном свете — ведь до сих пор я всегда охотился ночью с фонарем.

Сделав крюк, снова оказываюсь на тропе.

Не знаю, сколько минут я там простоял, как вдруг услышал крик оленя ниже по ручью. Видно, Банао

спугнул его, и олень решил предупредить самку. А сам продолжает идти спокойно.

Во мне снова пробудился охотник. Пульс вдвое чаще обычного. Мысли молниями пронизывают мозг. Мы не должны упустить оленя. Не то останемся без добычи.

Чу! Колышется зелень. Олень идет прямо на меня. Взяв копье двумя руками, заносу его над головой. Длина копья — два метра. Чтобы убить им оленя, надо колоть почти в упор.

От волнения меня бьет дрожь. Подвигаюсь так, чтобы укрыться за деревом. Здесь меня атакуют злые черные муравьи. Они кусают хуже ос, но я ничего не чувствую.

Секунда, другая, третья... Бесконечно длинные и напряженные. Должно быть, не больше десяти метров разделяет нас.

А что, если промахнусь? У меня ведь нет опыта.

Олень крадется в точности как перед тем кралась его самка. Медленно, шаг за шагом... Я не вижу его, но безошибочно чувствую, где он. Слабый шорох. Шум дождя. Тяжелые вздохи пропитанных водой джунглей. И громко стучит сердце, готовое выскочить из груди. Только бы олень по услышал!

Показались медленно движущиеся рога — огромные, тяжелые, твердые. Ему ничего не стоит убить меня. Глаз его не видно.

Ну!.. Десятые доли секунды отделяют меня от мгновения, когда олень окажется рядом и надо будет действовать.

Со мной что-то происходит. словно другой человек оттеснил мое обычное «я», принял командование над моими дрожащими, напряженными мускулами.

Вместо меня, стиснув копье в онемевших руках, стоит дикарь. Дикарь, за которым тысячи поколений охотников. Мозг и руки жаждут крови. Будто чуткие нервные отростки протянулись от кончиков моих

пальцев к острию копья. И копье стало частью моего существа. Промах невозможен. Руки не дрогнут. Неведомые силы движут мной.

В каком-то опьянении бросаюсь на оленя. Копье вонзается ему прямо в сердце. Я неотделим от копья, вместе с ним ощущаю трепет оленьего сердца. Чувствую, как убиваю. Вся моя воля и все осязание сейчас там — на острие копья.

Дикарь выдергивает копье из ослабевшего оленя. Зверь тяжело, со стоном падает. Брызги крови окропляют зеленую листву и тело охотника.

Дикарь упоенно пляшет, сжимая в руках копье. Он прирос к нему нервами, он убивает, он живет! В этом для него единственный смысл жизни, в этом — все.

А вот и Банао. Он слышал вопль дикаря и нетерпеливо прорубает себе путь в зарослях.

— Туан орудует копьем не хуже ибана, — говорит он, скаля зубы в улыбке.

Дикарь исчезает. Я снова так называемый туан. Голый и грязный, окровавленный и дрожащий. Глаза прикованы к обагренному кровью копью. Пальцы не хотят разжиматься.

— Если туан останется разделать оленя, я пойду в Ситабок за людьми. Часа за два обернусь.

Принимаюсь за разделку туши. Я весь в крови, меня мутит от запаха внутренностей. Но в душе — радость охотника, который видит большие куски жирного мяса и великолепные рога.

Я ложусь в мутный ручей, пытаюсь отмыться. На коже множество царапин и ссадин, клещей и пиявок. Пустяки! Это все — ерунда! Зато у нас горы мяса. Чудесного, свежего мяса!

Только под вечер мы перетащили мясо на берег. Асао ждал нас с лодкой.

— Мы почти все собрали, — доложил он. — Мантри Джаин говорит — полсотни кряжей пропало, не больше.

— Отлично, Асао! Погляди-ка — мы тоже потрудились!

— Вот когда мяса поедим! — Асао помогает нам погрузить добычу в лодку.

Буксир входит в пролив, волоча за собой несколько сот кряжей. Ему еще всю ночь идти. Мне не хочется плыть на нем. Экипаж получает свою долю оленины, а Джаин переходит в мою лодку. Смеркается, мы — восемь человек — едем домой, усталые, но довольные: удалось собрать лес да к тому же раздобыть мяса.

На пристани меня встречает Сари.

— Я тебя жду целую вечность! Думала уже — ты совсем не вернешься. — Она берет меня за руку, и мы вместе поднимаемся к дому. — Сижу одна на пристани, а на душе так скверно. Не успела опомниться, как стемнело. А ведь домой надо идти мимо того места, где убило Лабиро. И я решила ждать тебя, хоть бы всю ночь пришлось сидеть. Слишком страшно одной идти. Чего только не передумала, пока ждала. Будто семь вечностей прошло, а теперь кажется — всего одна секунда.

— Значит, ты больше не боишься духа Лабиро?

— А! Это я только пока одна верю в такие вещи. Ты ведь знаешь, с тобой я другой человек.

Над нами спокойные ясные звезды. Босые ноги медленно ступают по тропе. Ночной бриз колышет пальмы на пригорке около нашего дома. Из поселка плывет аромат курений. Ветер приносит из джунглей дыхание цветущих сала, море манит куда-то запахом водорослей и ракушек, от человеческого жилья тянет

дымом и пищей, сладко пахнут стебли риса, посаженного на поле.

Вдруг в эту симфонию запахов, словно голос солирующей скрипки, врывается благоухание мелати^[17], цветка любви.

— Это мы его посадили и взрастили. Теперь он пахнет для нас. — Сари сжимает мою руку. — Он говорит тебе: добро пожаловать домой.

Прирученный олень в загоне возле дома, слышав мои шаги, приветственно фыркает; собака прыгает, заливаясь лаем.

— Пойдем накопаем оленю батата, потом сами поужинаем, — предлагает Сари.

Мы собираем батат. В темноте теплой ночи играем с оленем, ласкаем его, затем идем в дом.

Спокойные, счастливые, съедаем свой рис и ложимся спать. Остро чувствуем полноту жизни. На миг мы уловили ее гармонию, нам не нужно слов, чтобы сообщить друг другу свои чувства.

Нам чудится, что мы постигли смысл жизни. Счастье в том, чтобы жить по законам джунглей. Охотиться до изнеможения, наедаться досыта, дружить с цветами и животными. Засыпать без мыслей и забот...

Философия джунглей необременительна.

Люди сердца

Весь первый год я был единственным белым на Нунокане. Да нет, нелепое это выражение — единственный белый. Можно подумать, человек живет в каком-то уединении. И его окружают чуждые существа, с которыми у него нет и не может быть ничего общего.

Многие белые считают, что они выше так называемых цветных и ни за что не соглашаются признать их полноценными людьми. Это неумное и близорукое в своей основе воззрение особенно распространено среди англосаксов. Расовые предрассудки — одна из наиболее отвратительных цепей, которыми глупость сковала человечество.

Я-то не вижу, чтобы я в чем-либо был лучше или стоял выше своих смуглых братьев и сестер, и потому мне вовсе не одиноко в джунглях. Собственно, мой первый год на Нунокане был самым счастливым годом.

Потом руководство компании прислало голландцев, чтобы они помогали мне в работе и скрашивали мое «одинокчество». И покою настал конец.

Я вовсе не виню самих этих голландцев. Они отнюдь не были заражены комплексом расизма. Слава богу, для большинства голландцев расовый вопрос — вопрос второстепенный. Главное для них — торговля и бизнес. Но ко мне на Нунокан попали типичные амстердамцы. Они никогда прежде не видели ни одного настоящего дерева, не понимали странных законов и языка джунглей и не могли приспособиться к «уединенному» существованию в нетронутым цивилизацией краю. Они отравляли жизнь и мне и себе. Их интересовали танцы, девушки, рестораны; люди, звери, охота не увлекали их ничуть. Джунгли и того меньше. Не удивительно, что через год-два они превращались в психов и отношения

между ними и индонезийцами были далеко не лучшими. Я принимал сторону индонезийцев и получил кличку «этичный»^[18] — так называли голландцы тех, кто, по их мнению, «заигрывал» с туземцами филантропии ради.

Другие, не «наши» голландцы говорили мне, что я как никто умею подойти к туземцам. Без особого труда мне удавалось поддерживать порядок среди тысячи с лишним коричневых рабочих из разных племен.

У меня не было никакого особого таланта, просто между мной и рабочими царило взаимное доверие. Они знали, что для меня они — люди, а не животные. Этого было достаточно.

Научиться этому нельзя, это должно быть врожденным.

Индонезийцы — люди сердца, люди чувства. Они постигают все не рассудком, а чувством. Интуитивно угадывают, как к ним относятся. Это, как они сами говорят, передается от сердца к сердцу.

Если ты в глубине души смотришь на них свысока, никакое внешнее дружелюбие тебе не поможет. Эти люди сердца сразу почувствуют твою неискренность, почувствуют, что настоящего взаимопонимания не будет.

Если же ты относишься к ним по-человечески тепло, они поймут это без слов. Можно сколько угодно бранить их, распекать — они не обидятся.

Из-за того, что индонезийцы — люди сердца, а мы, жители Запада, — люди рассудка, нам часто трудно понимать друг друга. За нашими поступками стоят разные побуждения.

Индонезийцам чужд наш холодный расчет, погоня за материальными благами, беззастенчивое попираание друг друга, борьба из-за куска хлеба, из-за славы, распри из-за пустых фраз. Они не могут понять нашу эгоистическую, волчью натуру, так же как нас удивляет

способность восточного человека все бросить, всем пожертвовать ради прихоти, ради внезапного порыва.

Вы пытаетесь уговорить, убедить в чем-то восточного человека доводами рассудка, холодной логикой. Он — так же безуспешно — обращается к вашему чувству, вашему сердцу.

Восток останется Востоком, Запад — Западом. Пока мы не обречем свое сердце. Или пока восточный человек не превратится в рассудительного умника, — дай бог, чтобы этого никогда не случилось, иначе кто научит нас жить? Нас, рабов западного общества с его господством машин?

Чаще всего знакомство с европейцами разочаровывало моих индонезийцев на Нунукане. Они не понимали этих странных чужеземцев. Правда, были исключения, и первым таким исключением оказалась женщина. Это была жена директора компании, она сопровождала мужа во время его первого визита на Нунукан.

Сам директор был человек черствый, настоящий карьерист, о других он заботился меньше всего. А жена его — добрейшая душа. Правда, она была не голландка, а бельгийка с явно выраженными южноевропейскими чертами. Жители Южной Европы человечнее северян.

Она не знала малайского языка, но ее и без того отлично понимали. Придет, улыбнется, и сразу всем ясно — это человек.

Наши люди и через несколько лет тепло вспоминали о пей. Вот если бы все белые были такие!

— Чем она тебе так нравится? — спросил я Сари.

— А! Ты сам хорошо знаешь... — Вот и все, что она могла сказать.

И еще один человек пришелся по душе нашим коричневым братьям — Рольф Бломберг^[19]. Недаром у него сердце довлеет над разумом (я искренне считаю

это комплиментом!). Индонезийцы тотчас видели: он их и себя считает людьми. Такое отношение уничтожает все барьеры, открывает все сердца.

Рольф попал на Нунукан на пятом году моего пребывания там. Сначала он написал мне, просил рассказать о стране и народе. Я его тогда совсем не знал, но решил, что раз человек мечтает о приключениях, да к тому же явно ничего не боится, — стоит заманить его на остров. И вот я написал ему, будто в одном из уголков Борнео живут поразительно красивые белые даячки. Если он приедет, я расскажу ему, как их разыскать.

Конечно, он примчался стремглав. Ему не сиделось на Нунукане, он не дал себе даже труда выучить язык, а поспешил отправиться на поиски красавиц.

Я от души восхищаюсь им. Не зная страны, языка, в сопровождении одного лишь легкомысленного Аванга, понимая, что малярии ему не миновать, Рольф отправился в сердце Борнео. Я немало переволновался, поджидая его.

Когда же он вернулся, мое уважение к нему только возросло. Конечно, я его надул, никаких красавиц не было, и, конечно, его изнурила малярия, но настроение у него было отличное. Рольф Бломберг навсегда влюбился в джунгли и здешних людей.

Некоторое время он прожил у меня на Нунукане и крепко сдружился с моими людьми, особенно с Сари. Она, да и остальные индонезийцы решили, будто все шведы такие, как Рольф и я.

— Он не похож на голландцев, он, как мы, — говорила Сари.

— Вы забываете о том, что вы белые, — заметил один гостивший у нас англичанин.

Втроем — Рольф, Сари и я — мы чудесно проводили время. Мы одинаково смотрели на джунгли и на жизнь. И в одинаковой мере наш взгляд на жизнь омрачался

малярией. Рольф хорошо узнал, что за зверь эта малярия. Он даже нарисовал ее на стене — да так выразительно, что Сари не могла без ужаса смотреть на эту картинку. В отместку малярия ввела Рольфу мысли о самоубийстве и пожирала его кровь.

И та же малярия заставляла нас каждый вечер подкрепляться спиртным. Один англичанин заверил нас, будто стаканчик виски — отличное средство от болезни. Рольф пил только «Блэк энд уайт»^[20] в честь Сари и меня. Он даже пообещал Сари, что скопит ей на ожерелье черных и белых собачек, которых попарно привязывают к горлышку каждой бутылки. Потом он, правда, передумал, решил собрать ожерелье из одних белых собачек. А то, не дай бог, Сари еще обидится.

В жизни не встречал человека, который бы так быстро понял и полюбил эту страну и ее народ. С первого дня Рольф, что называется, прижал Индонезию к своему сердцу и уж не выпускал ее, пока не пришла нора ехать назад, в Швецию. Только девушкам он не был верен.

С Борнео Рольф отправился на Яву, чтобы найти вторую Сари, но не успел сделать свой выбор. Однако он твердо решил вскоре вернуться, жениться на индонезийке и «отуземиться». Первое его письмо из Швеции дышало энтузиазмом.

А когда Рольф через два года в самом деле приехал, он был женат... на миловидной шведке.

Долой догматизм!

Да, всякое бывает с любвеобильными людьми. Если добавить к этому душу бродяги и счастливую способность великолепно чувствовать себя в любом краю, ты можешь вполне рассчитывать, что жизнь будет щедра к тебе. В этом смысле Рольфу несомненно повезло больше, чем многим другим. На старости лет он наверно поблагодарит судьбу за ее дар.

* * *

Итак, мой друг Рольф сочетал в себе сердце и рассудок. Но был на Нунукане совсем другой человек — сплошь сердце и никакой рассудительности. Звали его мандур Джумаат.

Я не встречал человека добрее мандура Джумаата. Он родился на Пенанге^[21], где живут самые чистокровные малайцы, но мне кажется, что в его жилах была немалая толика индийской крови. Густая борода, волосатая грудь — этого не увидишь у настоящего малайца. Усы, свисая, удлиняли и без того продолговатое лицо. Рот мягко очерчен, и говорил он как-то мягко, даже шепелявил. Карие глаза, как у преданного сенбернара. А руки его были одержимы постоянным желанием кому-нибудь помочь.

Когда я приехал на Нунукан, Джумаат жил на Себатике и бедствовал. Его пожилая жена-толстуха была из приморского племени; вся ее родня кормилась за счет мандура Джумаата. Прежде он хорошо зарабатывал на рубке железного дерева для тараканской нефтяной компании. Но теперь компания уже не нуждалась в железном дереве, а сбережений у Джумаата не было. Он просто не умел копить, как бы хорошо ему ни платили. Доброта Джумаата была широко известна, и чем больше он зарабатывал, тем больше дармоедов осаждало его дом.

Ему стоило немало труда бороться с голодом. Он расчистил и засеял несколько гектаров земли, и если бы он должен был кормить только жену и детей — их у него пятеро, — ему хватало бы с лихвой. Но Джумаат

так радушно одарял всех, кто к нему приходил, что задолго до нового урожая оставался без риса.

Я решил, что выручаю мандура Джумаата, когда предложил ему возглавить бригаду лесорубов на Нунукане. Но вскоре я усомнился в этом: сколько бы он ни получал, ему от этого не было легче. Допускаю, что сам Джумаат отнюдь не считал меня своим спасителем. Скорее, он думал, что оказывает мне услугу, работая на меня за жалкую плату. Ему жилось ничуть не лучше, чем дома на Себатике, — дармоеды все пожирали. Мне до сих пор стыдно вспомнить, как я обращался с Джумаатом. Я делал все, чтобы принудить его и других работать на меня, привязать их к компании и заставить отдавать свой труд за горстку риса, а сам воображал себя благодетелем.

Для начала я послал мандура Джумаата с бригадой, из двадцати пяти человек на Ментсапу. Выдал ему на месяц рис и другие продукты.

Через две недели он явился ко мне с самым удрученным видом и попросил выдать продуктов еще на месяц. Или сколько я пожелаю дать.

— Как, уже все съели?

— Сам не знаю, туан, как это вышло. Продукты кончились, едим одну рыбу. Я ночью ловлю сетью.

— Сколько же вы съедаете за день?

— Понимаете, едят не только те, которые работают в лесу. Туда столько народу понаехало. Знакомые и родные моей жены и других из нашей бригады. Нельзя же их без еды оставить...

— Ладно, вот тебе записка, получишь еще на месяц продуктов. Ступай на склад да постарайся, чтобы их хватило.

Несколько дней спустя, проверяя участок на Ментсапе, я убедился, что Джумаат заготовил достаточно леса, покрыл все авансы. Пока я мог быть спокоен.

Мне неведомо, как Джумаат рассчитывался со своими рабочими. Насколько я знаю, он никогда не платил им наличными, только продолжал забирать со склада невероятные количества риса, сахару, кофе и прочих продуктов. Но рабочие не жаловались. Иногда я распекал его, наставлял, как вести дело, чтобы к началу, сплава им хоть немного причиталось на руки. Джумаат соглашался и работал, не щадя себя. Днем наравне со всеми неумоимо таскал кряжи, а по ночам шел ловить рыбу.

Но вот нагрянула малярия и вывела всех из строя. Целый месяц рабочие не могли рубить лес, но есть, конечно, продолжали и они, и дармоеды. Толстая жена Джумаата день и ночь жевала бетель и без перерыва пила кофе. Пускай уж, говорил Джумаат, это ее единственный порок.

Я частенько наведывался на его участок. Здесь было особенно много женщин, и жизнь они вели самую вольную. Однако жена Джумаата была ему верна, и я ни разу не слышал, чтобы мужчины этой бригады повздорили между собой, хотя все время ждал вестей о том, что они перерезали друг другу глотки.

Рабочие приехали на Ментсапу с Себатика вместе с семьями. Всего в лагере лесорубов было около десяти замужних женщин и три очень милые девушки в брачном возрасте. Конечно, чистейшее безумие — привозить девушек в лесной лагерь. Уж лучше бы они голодали в родной деревне, чем жить в поселке лесорубов, где было вдоволь еды и мужчин.

Правила этих племен требуют, чтобы девушка выходила замуж непорочной. Иначе будет опозорена по только она, но и вся ее семья.

Я великолепно понимал, что девушки в лагере лесорубов ведут себя не примерно. Родные никак не могли уследить за ними. И все в открытую говорили, что этим девушкам теперь грош цепа. Они годятся только

на то, чтобы развлекать лесорубов. Но мандур Джумаат был глух к таким разговорам, он не хотел верить, когда о людях говорили плохо. Кажется, это единственное, в чем он был тверд.

Вскоре жена Джумаата умерла от малярии. Но он был так погружен в заботу о других, что ему даже некогда было горевать. Ее похоронили в джунглях; на кладбище уже лежало несколько лесорубов. Джумаат поставил на могиле дощечку из железного дерева.

Когда через месяц я приехал на Ментсапу, ко мне подошел Джумаат:

— Туан, я опять буду просить рис. Хочу устроить небольшой пир. Я женюсь...

— На ком же ты женишься?

— На Халиме, туан. Мне нужна жена, а то некому присмотреть за детьми и домом... И семья Халимы хочет, чтобы я ее взял.

Еще бы! Ведь люди поговаривают, что она беременна от кого-то из лесорубов. А Джумаат, конечно, не мог отказать се родным. И, конечно, у него не хватит духу подвергнуть сомнению ее непорочность.

— Но ведь ты задолжал больше тысячи гульденов, и работа не ладится.

— Что же я могу поделывать, туан. Мы работали, старались... Это малярия нам все испортила.

Разумеется, я выдал ему рис. И его долг продолжал расти. Ни я, ни сам Джумаат уже не верили, что он когда-либо расплатится. А тут как раз компания решила отчитать меня: уж больно я щедр на авансы рабочим, совсем беспардонно распоряжаюсь средствами компании.

Через шесть месяцев после свадьбы новая жена Джумаата родила ему крошку. Он пригласил меня отпраздновать это событие; я не удержался, спросил его, сколько же времени они женаты. Джумаат

печально посмотрел своими преданными глазами и ответил:

— А кому это нужно, туан, дни считать. Точно от этого что-нибудь изменится.

Джумаат построил себе на лесосеке хорошее жильё: не лачугу из пальмовых листьев, а дом из теса. Вместе с ним там поселился десяток дармоедов. Как он ухитрился построить этот дом, я до сих пор не могу понять. Видно, эти тунеядцы все-таки что-то делали. На Нунукане ни у кого из десятников не было такого роскошного дома, как у Джумаата. И чудная жена, и славный малыш в придачу. Не говоря уже о детях от первого брака.

Должно быть, из-за новой жены в доме постоянно толклись гости — мужчины, которые ничуть не стыдились заглядываться на жену Джумаата и поедать его рис. И только ли они заглядывались на нее...

Джумаат все глубже залезал в долги. За ним было уже две тысячи гульденов. Ежемесячного заработка бригады хватало в лучшем случае на то, чтобы расплатиться за продукты. А то и на продукты не зарабатывали. У Джумаата был такой затравленный вид, что больно смотреть. Но мне полагалось при каждой встрече бранить его и грозить ему неприятностями. Нельзя же «выбрасывать» деньги компании! Начальство частенько напоминало мне об этом. Боюсь, Джумаат пролил втайне немало слез — да что толку.

Но вот малярия отступила. Теперь бы Джумаату только отделаться от дармоедов — и дела пошли бы на лад.

Джумаат ссутулился от забот, но они не сломили его, и он продолжал упорно трудиться. Что еще ему оставалось делать?

Молодая жена сбежала с лесорубом, оставив ребенка Джумаату. И опять ему некогда было горевать.

Другой на его месте взялся бы за нож. Джумаат же покорно влачил свое бремя. Долг его все рос.

О старшей дочери Джумаата — ей исполнилось пятнадцать лет — по всему Нунукану ходили сплетни. Некому было присмотреть за ней.

Джаин придумал выход. Он уговорил другого мантри, одного из моих землемеров, жениться на дочери Джумаата и возглавить его бригаду.

Наконец-то в жизни Джумаата появился просвет. Дочь получила богатое приданое, никто не решился пикнуть что-либо насчет ее поведения. Нурид — так звали зятя — взял на себя все дела. Джумаат только работал в джунглях. Как он ни возражал, Нурид выдворил почти всех дармоедов, и уже через месяц-другой смог вернуть несколько сот гульденов в счет долга. Остальное мне удалось списать. Так Джумаат освободился от долгов. Молодая жена вернулась к нему. Беременная — Аллах ведает от кого. Но отцом ребенка стал Джумаат.

— А, она еще девчонка, вот и закружили ей голову. Разве можно ее винить! — И Джумаат занял риса и денег, чтобы отпраздновать воссоединение.

Мало-помалу Нурид заразился добротой Джумаата, и тунеядцы возвратились. Вернулась и малярия, и в итоге Джумаат снова залез в долг.

Я пришел к выводу, что это просто неизбежно, что Джумаат от природы такой: пока есть что отдать, он не может не отдавать. Только очень большие долги могли заставить его поумерить свою щедрость. Значит, для компании выгоднее всего, чтобы он не вылезал из долгов.

Вот как я решил эту задачу: когда бригада перешла на новый участок, назначил Джумаату заниженную цену за лес. Он тотчас увяз в долгах. Но у меня все было высчитано. Ему выписывали за кубометр два гульдена,

я прощал Джумаату долги, — и в общем кубометр обходился в два с половиной гульдена.

Постепенно мы с Джумаатом привыкли к этому порядку. Он все время помнил о долге и старался быть бережливым, а я при каждом расчете прощал ему еще часть долгов. Только руководство компании осуждало мои действия. Мол, очень уж восточные приемы я использую.

Охота

Лучи заходящего солнца пронизывают сырой вечерний воздух, окрашивая в багровый цвет небо, море, берега. Черными силуэтами вырисовываются джунгли Себатика и неподвижная лодка. Черными кажутся и фигуры людей на плотях. Других красок сейчас нет, только красная и черная. Вот Асао вышел на катере передать буксирный трос на плоты — и тоже стал черной топью на багровой глади океана.

Быстро спускается ночь, красная краска сгущается. Когда трос наконец закреплен и можно начать буксировку, все окрашено в черный цвет разных оттенков; между тяжелыми, медленно плывущими по небу тучами проглядывают звезды.

До нуноканского лесосклада мы будем идти всю ночь. Она обещает быть спокойной. Я советуюсь со старым Дуллой и Асао: что если доехать на лодке до Себатика, поохотиться там с фонарем, а рано утром нагнать буксир?

Должно быть, мы все трое одинаково стосковались по мясу: нам потребовалось всего несколько минут, чтобы убедить друг друга, что это мероприятие необходимо. И вот уже мотор чертит светящуюся дорожку на черной воде.

Длинная отмель вынуждает нас заглушить задорный голос «Пенты», не доходя берега. В джунглях звучит ночной концерт цикад, а в море монотонно рокочет машина буксира. Его зеленый фонарь движется еле-еле: буксир тянет двести кубометров леса.

Дулла и Асао, взявшись за шесты, толкают лодку, а я укрепляю на голове фонарь. Видим, как по мелководью удирает рыба. Асао острой убивает ослепленного светом фонаря ската.

До нас долетают ароматы джунглей; их столько, что сразу и не различишь. Но мы выделяем явственный, сладковатый запах оленя. Луч света рыскает во все стороны, с ружьем в руках прыгаю в неглубокую, по колено, воду. Запах зверя очень силен, но я пока не вижу отсвета глаз. Несколько шагов — и я на берегу. Дулла идет за мной но пятам. Внимание: вон там на опушке качаются ветки и ствол молодого деревца... Сквозь пронзительный стрекот цикад улавливаю чуть слышный стук копыт. Мои нервы и мускулы предельно напряжены; крадучись, пробираюсь через прибрежный кустарник. Вдруг — блеск глаз! Ружье взлетает вверх — и тут же опускается: маленькую прогалину сторожкими шагами пересекает белый олень.

Белый олень!

Дулла за моей спиной бормочет заклинания.

— Аллах! Туан, ради Аллаха — не стреляйте!

Значит, мне не почудилось. Старый Дулла тоже видит его. Белый олень!

Это самка. Вот снова, как раскаленные угли, сверкнули ее большие глаза. А затем она не спеша идет вверх по тропе, которая пронизала заросли.

— Это не животное, туан, это дух, — ело выговаривает Дулла.

— К добру или злу?

— Не знаю, туан. Я еще никогда не видел белого оленя. Слышал только — иногда владыка себатикских джунглей является в виде белого оленя. Если бы туан выстрелил, мы бы пропали.

Идем назад к лодке. Дулла совещается с Асао. Им очень хочется мяса, и они заключают, что встреча с белым оленем — добрый знак. Дулла остается сторожить лодку, а мы с Асао опять выходим на поиск.

Шагаем по белесому бережку. Справа от нас — стена джунглей, настолько плотная, что вряд ли мой фонарь нащупает в них какого-нибудь зверя. Но лесные

жители ночью часто выходят на берег. Особенно во время отлива; их манит соль, а может быть, они любят луну и звезды. Стоит им покинуть спасительные заросли, как глаза выдают их издалека. Правда, здесь, на Себатике, олени уже понимают, чем им грозит свет фонаря, и скрываются, не подпуская охотника на выстрел.

Идем долго. Иногда я останавливаюсь и направляю луч в джунгли. Каждый раз мы что-нибудь обнаруживаем. Есть смельчаки среди оленков, дикобразов, куниц, циветт, летяг, лори. Или они знают, что я не трогаю мелкую дичь?

Лори — маленькая полуобезьяна, длиной всего лит в несколько десятков сантиметров, включая хвост. Его зрачок в отличие от глаз настоящих обезьян и человека отражает свет фонаря. Глаза у лори большие, круглые, приспособленные к ночному образу жизни, голова тоже круглая, на конце хвоста кисточка. Пальцы на руках длинные и узкие, с утолщениями на копчиках, напоминающими присоски. Крохотный зверек прыгает с дерева на дерево, как древесная лягушка. Я поднес ствол ружья к стволу, на котором сидел лори, и тронул зверька веточкой. Он спрыгнул и преспокойно уселся на дуле, но удивленно метнулся прочь, едва я пошевелил ружьем. Впрочем, широко раскрытые глаза всегда придают лори удивленный вид.

Около часа прошло, прежде чем мы, наконец, заметили на берегу светящийся глаз.

На оленя не похоже. Очень уж низко над землей и не двигается. А может быть, это всего-навсего блестящий камень или выброшенная волной консервная банка?

Медленно приближаемся. Ружье наготове — всякое может случиться. Если это крокодил, у меня в левом стволе припасена для него пуля со стальным наконечником.

Вдруг — громкое пыхтение. Замираем на месте. В жизни не слышал ничего похожего! Будто паровоз выпускает пар.

Опять кто-то пыхтит. Прямо перед памп. Несомненно, это связано со светящимся глазом.

Зубы Асао выбивают дробь.

— Пошли обратно, — говорит он. — Это злой дух, туан.

Звуки повторяются. Мне становится не по себе. Что это может быть? Вспоминаю белого оленя. Какие еще чудеса увидим мы сегодня ночью? Кажется, в джунглях нет животного, которое издает такие звуки!

Однако дух или не дух, — я должен выяснить, что же это такое. Иду к светящейся точке, держа ружье наготове. Асао остановился.

На расстоянии десяти метров различаю очертания чего-то большого, черного. Глаз как будто смотрит прямо из этой темной массы. Да разве это животное? Скорее черная скала!

Подхожу вплотную, и вот так штука — кит! Его выбросило на берег, но он еще жив и шевелит хвостом; мы слышали его дыхание.

Подзываю Асао. Он робко приближается и осматривает огромное животное. Впрочем, кит не так уж и велик. Метров восемь в длину, не больше. Но голова все равно словно глыба.

Давно уже позади умирающий исполин, а мы все еще слышим, как тяжело он пыхтит.

— Не будь туана, я бы ни за что не подошел, — признался Асао. — А потом стал бы всех уверять, что встретил чудовищного духа.

Олени, видимо, решили в эту ночь не выходить на берег. Вдоль небольшой речушки входим в джунгли. Идти очень трудно, лишь кое-где нам попадаются прогалины.

Ночью при свете фонаря джунгли поражают воображение еще сильнее, чем днем. Высоко над головой угадывается тяжелый черный полог — это могучий лиственный свод. Луч туда не достает. Внизу вокруг нас пляшут причудливые тени, и растения принимают самый неожиданный вид. Повсюду сверкают глаза. Будто грани алмаза отсвечивают глаза пауков и ночных бабочек. Холодно поблескивают зрачки змей и лягушек. Мелькают искорки под кронами небольших деревьев — там циветты и белки-летяги. Здешние белки вдвое крупнее своих шведских сородичей, а ночью они кажутся еще больше, когда расправляют «крылья» и планируют от дерева к дереву.

Густой воздух дебрей насыщен самыми различными запахами. Правда, Асао все равно не умеет их различать, от него помощи не жди. Узнавать по запаху животных меня научили пунаны. Это совсем несложно — было бы хорошее чутье.

Но сейчас пыльца и аромат цветов заглушают большинство других запахов. И мы наткнулись на оленя совсем неожиданно, я не успел учуять его. Он отступил в чащу прежде чем я выстрелил, но ушел недалеко.

Осторожно идем следом. Раз-другой замечаем в зарослях его глаза — он уходит не спеша.

На берегу реки перед нами расстилается полянка. Здесь растет трава, которую очень любят олени, и я тотчас улавливаю сильный запах животных. Но глаз не видно. Свечу по сторонам... Вдруг в двадцати метрах от меня вспыхивают два светящихся пятна. Пуля укладывает оленя, который, ничего не подозревая, щипал траву. Напуганный выстрелом, из леса выскакивает тот олень, что вел нас сквозь чащу. Его не различить во тьме, но я целю в пляшущие глаза и выпускаю заряд картечи из правого ствола. Асао уже перерезал глотку убитому оленю, чтобы выпустить кровь. Вместе подбегаем ко второму. Он мертв. Убит

наповал. И ведь что интересно: его поразила одна-единственная картечина, пробившая кость над самым ухом.

Теперь уже очевидно, что белый олень принес нам удачу. Но мы еще должны основательно потрудиться! Сначала тащим обе туши к морю. Потом идем за лодкой. Близился рассвет, когда мы пригнали ее. Мотор капризничал, чихал и кашлял так, словно жестоко простудился. Асао пришлось призвать на помощь все свое искусство; наконец «Пейта» яростно взревел.

Только мы погрузили добычу в лодку, как из моря вынырнуло солнце. К Нунукану мы подошли гораздо позже буксира, там уже вовсю работали.

Сари сердилась: она всю ночь не сомкнула глаз, беспокоилась за меня. Заведующему лесопилкой не доставало какого-то сорта леса. Толпа десятников ждала приказов и указаний. Иа одном из лесоскладов сломался затвор и несколько сот кряжей унесло в море. Пароход с почтой из Таракана до сих пор не пришел, хотя его ждали еще вчера.

Разве тут до охоты! И все-таки я видел белого оленя и умирающего кита; уложил двух оленей и добыл гору мяса. После этого вовсе не страшно, что у меня дел по горло!

Амок

Джунгли вокруг поселка Нунукан, вдоль морского побережья и по берегам всех рек острова заметно поредели. Ежемесячно мы валили пять тысяч кубометров, а это не могло не оставить следа. Главная трудность была уже не в том, чтобы найти людей для рубки леса, а в том, чтобы обеспечить участками все бригады.

Я ходил на разведку все дальше вверх по долинам Борнео, и за мной шли рабочие. Приходилось мало-помалу снижать свои требования. Прежде мы отвергали участки, где с одного гектара можно было взять меньше двухсот-трехсот кубометров. Теперь мы были рады лесу, который сулил сто — сто пятьдесят кубометров с гектара.

На Нунукане прокладывали железные дороги к лесосекам, которые не были связаны с морем реками и находились слишком далеко от берега, чтобы можно было таскать тяжелые кряжи вручную.

День и ночь трудились строители дорог, чтобы не отставать от уходящих вперед лесорубов. Не успеют уложить километр пути, как уже по обе стороны все вырублено. Некоторые ветки протянулись по долинам в самое сердце острова. Главная магистраль опоясала почти все побережье. Приходилось увеличивать число людей на строительстве железной дороги, а где их набирать? Машин у нас не было, землю разрыхляли заступами и переносили в корзинах.

Я задавал направление, малайцы-землемеры провешивали трассу и определяли, где надо вынуть грунт, где подсыпать.

Вперед, только вперед! Еще совсем недавно я намечал трассу в девственном лесу, спугивая оленей и гиббонов, а сегодня там уже свистит паровоз.

— Скоро Нунукан будет по-настоящему освоен, — радовался Джаин. — И это сделали мы, туан!

— Не миновать нам беды, — говорил старый Дулла. — Этак для старого владыки Нунукана не останется места! Тогда он отомстит нам. Пока не поздно, надо принести ему жертву и просить, чтобы он нас извинил, туан!

— Ох, уж этот Нунукан! — жаловалась Сари. — Разве мы тут для себя живем? Разве это жизнь? Ты все отдаешь компании и людям, которые ей служат. На мою долю редко-редко приходится маленький кусочек. А тебе самому и вовсе ничего не остается! Ну что в этом хорошего?

— Ничего, зато благодаря нам сколько народу зарабатывают деньги!

— Разве это хорошо? Да ты сам в это не веришь. И за чем ты только гонишься! Что — не знаешь?..

— Пожалуй, что так, Сари.

Если мы кое-как поспевали строить железные дороги, то лишь потому, что в Китай вторглись японцы. Многие китайцы покинули родину, спасаясь от поработителей и убийц. Некоторые бежали в Гонконг, а оттуда на разных судах — от больших пароходов до крохотных джонок — продолжали путь на юг и добрались даже до Борнео.

Как-то незаметно на Нунукане собралось несколько сот беженцев. Разумеется, чтобы сойти на берег в чужой стране, нужны были особые бумаги, разрешение на въезд. Откуда им все это взять?..

Я выдавал китайцам рис и ставил их на строительство железных дорог. Им хорошо — и работа кипела как никогда. Но — увы, наша радость была недолговечной. Голландские власти проведали о

беженцах и прислали военные отряды, чтобы выдворить их на родину. Пусть гибнут там от рук захватчиков или от голода.

И ведь дело не в жестокости и не в садизме. Так уж устроены мы, европейцы: есть правила — надо выполнять. Поклоняемся священным книгам, молимся на печатное слово.

Мне удалось спрятать в джунглях от голландских солдат немало китайцев. Как только солдаты покинули остров, беженцы вышли из леса и вернулись к работе.

В эти же дни на Нунукане появилось несколько японских шпионов. У них были все нужные документы, они не боялись властей. Зато им нужно было остерегаться китайцев. Тогда я впервые увидел, что такое настоящая ненависть.

Мы с недоумением смотрели на этих китайцев и японцев. Я-то узнавал в них себя и других европейцев, но для индонезийцев это было нечто новое.

— Они так похожи друг на друга, — недоумевал Бара. — Одни цвет кожи, и те и другие — сквернословы и безбожники. Зачем им убивать друг друга? Если бы еще из-за женщин! А тут?!

— Туан, — продолжал Бара, — я работал и на голландцев, и на китайцев, и на японцев. Есть среди них плохие люди, но большинство хорошие, очень хорошие! Однако же воюют между собой. Говорят даже, будто японцы скоро придут сюда воевать с голландцами! Среди мусульман такие вещи невозможны.

— Охота тебе ломать над этим голову, Бара! Инш Аллах!

Бара смущенно улыбается: я, безбожник, подловил его.

Я забрал Бару с участка в Себакисе и поставил присматривать за железнодорожным строительством. Здесь работало много макассарцев, а Бара знал подход

к ним. Если бы но он, я вряд ли решился бы держать этих макассарцев. Уж очень неуравновешенный народ.

И ведь когда им надо, они отлично управляют собой. Вот вбили себе в голову, что Бара наделен сверхъестественной силой, и, пока он поблизости, не позволяют чувствам брать верх над рассудком.

Удивительные это вещи — тайные силы, выдуманный страх перед ними, суеверие. Зачастую человек не может справиться с ними. В такой обстановке, в какой жили мы, особенно чувствуешь себя рабом случайностей. Сплошь и рядом жизнь одного человека зависела от мимолетного настроения другого, который и не пытался обуздать себя.

Взять хоть Бачо, макассарца, который работал под началом Бары. Это был странный, диковатый человек, предрасположенный к истерии. Его рассудок нередко терял власть над толлом.

Сам Бачо был уверен, что некие таинственные силы заставляют его нападать на людей или подолгу бродить в джунглях. Оба они — и он и Бара — считали эти силы слишком могущественными, чтобы с ними можно было сладить.

Если Бачо бросал работу и уходил в джунгли, Бара не говорил ему ни слова. Он никогда не мешал Бачо спокойно отсыпаться после возвращения из леса. Стоило бесам оставить Бачо, и он работал за двоих — только бы никто не стеснял его свободы. Десятник не засчитывал ему прогула — ведь Бачо с лихвой наверстывал упущенное.

Десятника звали Кандар. Этот тучный яванец, поднакопив денег, вырядил свою жену-старуху в шелка, подарил ей браслетов. Поговаривали, что он разбогател за счет рабочих, присваивая часть их жалованья. Но я не верю этому. И Бара уверял, что Кандар честно ведет дела.

Но вот однажды Кандар отказался уплатить Бачо за несколько дней, которые тот, одержимый бесами, провел в джунглях. Бачо не стал с ним спорить. Он усердно копал землю на выемке, но в душе у него явно шла усиленная работа.

Через несколько недель он сказал десятнику:

— Если Кандар не оплатит мне те дни, худо будет!

Кандар попросил Бару забрать от него Бачо. Но Бара почему-то не решился исполнить его просьбу. А может быть, просто подумал, что в этом нет надобности.

Когда Кандар собрался ехать на одном из наших катеров в поселок за деньгами для бригады, Бачо попросил подвезти его и тоже сел в катер. Поравнявшись с поселком, Кандар и Бачо пересели в маленькую шлюпочку, чтобы съехать на берег. Я в это время возвращался домой на своей лодке.

Не доезжая берега, Бачо вдруг встал, выхватил нож и со страшными проклятиями бросился на Кандара. Тот увернулся, но при этом упал в воду. А так как Кандар не умел плавать, то стал диким голосом звать на помощь, пытаюсь ухватиться за лодку.

Бачо вооружился веслом из железного дерева и ударил Кандара по голове раз, другой, третий, пока не пробил ему череп. Кандар пошел ко дну.

Я был далеко и не мог разобрать, что происходит, но из криков людей на берегу понял, что случилась беда.

Причалив к берегу, я узнал от голландца-моториста, что Бачо убил Кандара. У Бачо амок, теперь он побежал в деревню, наверно и там буйствует.

Я помчался домой, схватил пистолет и ринулся вдогонку за Бачо, но успев даже подумать, зачем бегу и что буду делать, если найду его.

Навстречу мне шли лесорубы. Они сказали, что Бачо убежал в лес и пока больше никого не трогал. Но у него в руках кинжал.

— Бачо заявил, что когда-то убил собственного отца, — добавил один мантри, — и убьет каждого, кто пойдет против него.

Я кратчайшим путем зашагал в джунгли. Только вошел в лес, за спиной у меня послышался шум.

Оборачиваюсь — Бачо.

— Туан ищет меня? — У него странные, будто остекленевшие глаза.

— Да, тебя. Если это ты убил Кандара!

— Я убил.

Я ошеломлен, не знаю, как быть. Стою неподвижно и молча смотрю в глаза Бачо. Про пистолет в кармане забыл.

Но помню уж, сколько секунд или минут мы так простояли.

Вдруг, тяжело дыша, сверкая глазами, появляются Анам и Легонг. В руках у них мечи. Оба бросаются на Бачо.

— Стой! — кричу я.

Мечи опускаются.

— Не шевелись, если хочешь жить! — рычит Легонг.

Подбегают еще люди. Вот и Бара, а с ним несколько макассарцев.

Кажется, странное напряжение оставило Бачо. Он стоит с каким-то безучастным видом. Говорит что-то своим землякам на макассарском наречии, которого я не знаю.

— Только скажите, туан, мы его проучим, — горячится Анам.

— Туан, — вмешивается Бара, — Бачо просит, чтобы ему разрешили сегодня переночевать у его товарищей. Завтра туан может отвезти ого в Таракан и судить за то, что он сделал.

— Ты ручаешься, что он больше ничего не натворит?

— Да, туан, мы отвечаем за пего.

— Отдайте его нам! — не унимается Анам.

— Ты, Анам, будешь сторожить его! Пусть ночует у своих друзей, но если он начнет безобразничать, — не щади его!

Бачо уводят.

Вечером я сижу на веранде кухонной пристройки и сдираю кожу с варана. Из темноты выходит Легонг и останавливается возле крыльца.

— Заходи, Легонг, поможешь мне!

Он поднимается по ступенькам. Мы надрезаем жесткую кожу ящерицы.

— Мне нужен только хвост, Легонг. Возьми себе остальное.

— Спасибо, туан.

Он молча продолжает работать, ему явно хочется что-то сказать. Наконец решается:

— Почему туан не поручил нам Бачо?

— Бара с ним как-нибудь управится. Да ведь и вы тоже помогаете сторожить его.

— Я не об этом. Почему туан сам пошел за Бачо? Сам поймал его? Почему туан не послал нас? Нам очень важно показать свою силу и храбрость. А туану это не нужно. Про его силу и так все знают. Правда... может быть, не все догадывались, какой туан *могущественный!*

— Что ты хочешь сказать?

— Но ведь туан одним только взглядом одолел Бачо! Кто еще смог бы это сделать? Мы бы зарубили его.

— Брось ерунду болтать. Бачо и не думал сопротивляться.

Легонг смеется:

— Туан шутит! Что мы, не знаем Бачо? Да вы спросите Бару.

Легонг забирает свою часть варана и спускается с крыльца.

— А все-таки туан зря пошел сам. Надо было нас вызвать — ни шума, ни хлопот, и больше не пришлось

бы возиться с Бачо.

При этих словах лицо Легонга становится суровым, он смотрит на меня с укором.

Утром я надел на Бачо наручники и отправил его в Таракан. Анам и Легонг сопровождали его. К их досаде, в пути ничего не случилось. Они даже сняли с Бачо наручники, но он, как назло, вел себя смирно. Лишь несколько недель спустя он опять взбесился и напал на полицейского. Но это уже другая история.

* * *

От Бары я узнал, что произошло перед тем, как я поймал Бачо.

Прежде всего убийца примчался в барак, где вместе с несколькими макассарцами сидел Бара.

Ворвавшись в помещение, Бачо швырнул нож в угол.

— Я убил Кандара! — закричал он. — Каждого убью, кто хоть слово скажет против меня! Ну, кто смелый? Думаете, побоюсь? Да я собственного отца убил!!

Все так и оцепенели, рассказывал Бара. Он пригвоздил пас к месту своим взглядом. Сразу было видно — на человека убийство нашло. Того и гляди, бросится на кого-нибудь из нас. Он ведь знал, что мы не посмеем дать ему отпор, просто не сможем. Черт знает, что в нем за сила такая?! Тут кто-то снаружи крикнул, что туан пошел в джунгли искать Бачо.

— А хоть бы и сам туан сунулся ко мне — я его на место заколю, — прорычал Бачо и, вырвав кинжал у одного из макассарцев, добавил: — Эта штука мне пригодится, она подлиннее моего ножа.

Затем он побежал в лес разыскивать меня.

— Мы сидели как пригвожденные и не могли сдвинуться с места, — продолжал Бара. — Я был уверен: Бачо убьет туана, но у меня голос пропал, я не мог даже крикнуть. Слава Аллаху, туан оказался сильнее Бачо!

Вот как получилось, что моя собственная нерешительность спасла мне жизнь. Я так опешил, что тупо уставился на Бачо, а он решил, что у меня в глазах заключена тайная сила, которую я обратил на него, и с кинжалом в руках тоже застыл на месте. Потянулся я за пистолетом, он бы тут же зарезал меня.

Какая цепь случайных совпадений!

Сперва Бачо в припадке истерии ушел в лес. Потом Кандар отказался оплатить ему прогул. Новый приступ истерии, — и Бачо убил Кандара. Дальше Бара внушил себе, будто он парализован «силой» Бачо и не может мне помочь, даже предупредить, что тот решил и меня отправить на тот свет следом за Кандаром. Бачо в свою очередь внушил себе, что я «сильнее» его, и в итоге я остался жив.

Бачо оказался таким же суеверным, как Бара. К счастью для меня. И все же Легонг, пожалуй, был прав: лучше предоставить ему и его друзьям управляться с такими, как Бачо, а не вмешиваться самому.

Про игрока, девушку легкого поведения и скомороха

Из своего дома среди пальм на пригорке я вижу, как солнце прячется за могучие вершины Борнео. Ночь идет на смену жаркому дню, и джунгли облегченно вздыхают. На багряном фоне вечернего неба вырисовывается изящный силуэт бамбука. Загорелся фонарь на мачте буксира, стоящего на рейде. Быстро смеркается, но поселок Нунукан освещен электрическими огнями. Только в моем доме пока темно. Сидя на веранде, я смотрю, как на листьях пальм играет свет месяца. На лесопилке настойчиво жужжат рамы: они день и ночь грызут лес.

Я чувствую себя владыкой всей окружающей красоты, монархом здешних людей и земли, с которой мы свели лес. Кажется, мы окончательно одолели здешние джунгли. Даже ночью электрический свет и визг лесопильни отпугивают лесных духов.

Но что это за гигантские руки протянулись вверх к небесам? Обугленные скелеты деревьев... Как эти мертвые великаны еще ухитряются стоять! Неприятно смотреть на них сейчас, к ночи. Отчаянный жест, обращенный к небу, выражает и печаль и угрозу; и я начинаю понимать, что боролся не за доброе дело и вовсе не выиграл бой. И роль владыки меня уже не радует.

Нет, поединок с джунглями не сулит мне лавров, ведь я обманом заставляю себя и других бороться с чем-то хорошим. Когда я пытаюсь определить это хорошее и как-то выразить нелепость нашей борьбы, мне не хватает ни представлений, ни слов. Я не могу передать то, что мне так ясно только что сказали джунгли.

Дело не в том, что мы, как говорит Сари, отнимаем дом у зверей. И не в том, что мы, как говорит Дулла, оскорбляем древних духов острова. Мы самим себе причиняем вред, раним собственную душу, когда уничтожаем дебри, воображая себя ударными отрядами цивилизации.

Впрочем, роль руководителя претит мне не только тогда, когда я слышу жалобу джунглей и вижу вздетые к луне и небесам костлявые черные руки. Я вообще не люблю эту роль. Она не для меня. Мне противно распекать людей, улаживать раздоры, погонять на работе, ломать голову над тем, как бы побольше выжать из рабочих и из леса, заставлять других подчиняться моей воле. Меня тяготит обязанность принимать решения и отвечать за бесчисленное множество дел.

Конечно, руководитель может фантазировать, мечтать и пытаться воплотить свои мечты в жизнь. К сожалению, слишком редко из этого что-нибудь получается. Мечтаешь видеть город — вырастает маленький поселок; хочется добиться довольства и благосостояния — выходит только горе и нищета.

Правда, не все меня разочаровывает. Как руководитель я знаю множество новых людей, живу их заботами и влияю на их судьбы. Через них я вплотную соприкасаюсь с жизнью, ощущаю ее трепетное биение, приобщаюсь к подлинно человеческим чувствам. И — порой — убеждаюсь, как много дает нам жизнь, когда она особенно щедра или когда она особенно жестока. Человек здесь так незащищен; душа и тело обнажены. Его не охраняет броня образованности, самомнения, чванства. А если и есть какой-нибудь покров, его быстро сдирают джунгли.

Из всех, кого я узнал здесь, меня больше всего привлекают те, которые не боятся согрешить против

бога или своих духов, не боятся сказать жизни «да», а условностям — «нет».

Я многих вспоминаю с благодарностью. Одни из них — хаджи Унус. Никогда не забуду его, во всяком случае его глаз. Глаза У нуса были, если можно так сказать, средоточием всего человека. Не такие уж большие и не темнее, чем у других индонезийцев, но они постоянно горели удивительным пламенем, и это пламя сжигало тело хаджи Унуса, прекрасное, сильное тело греческого бога. Четкие грани лица заставляли вспоминать творения кубистов. Правда, спокойная несокрушимая сила, которую оно выражало, как-то не сочеталась с точеным носом и топкими, мягко очерченными губами.

Хаджи Унус появился на Нунукане уже на втором году нашего поединка с джунглями. Пришел ко мне и контору и попросил взять его на работу.

— Что вы умеете делать? — спросил я и поднял на него глаза, проверяя, что это за человек. Я сразу же понял, что это не рядовой кули, и не стал ждать ответа. — Мне нужен десятник на Ментсапу, в бригаду сплавщиков. Согласны?

— Я согласен на любую работу, какую мне предложит туан.

— А сколько вы хотите получать?

— Сколько даст туан.

— Где вы работали раньше?

— В нефтяной компании, в Таракане.

Мне было некогда, я позвал Джаина и попросил его записать хаджи Уиуса мандуром плотогонов на Ментсапе; платить ему столько же, сколько платили его предшественнику.

На коварной реке Ментсапе пятнадцать человек вязали плоты и сплавляли их. Кроме того, в устье реки грузили тяжелые бревна на баржи с ветхой пристани.

Вскоре после назначения хаджи Унуса я побывал на ого участке и увидел, что он строит новую пристань, более длинную, чтобы можно было нагружать баржи и в отлив. Уже смеркалось, но бригада еще работала.

— Сделаем пристань покрепче, поставим кран. С краном дело пойдет куда быстрее.

— У меня в поселке есть кран, я пришлю его сюда. Вы сами его установите?

— Конечно. Если туан не против, я еще построю мост через реку, чтобы легче было перебираться на ту сторону.

— Что ж, стройте. Но прежде всего — плоты.

Хаджи Унус соорудил пристань и поставил кран; да и сплав при нем пошел намного лучше. Он работал день и ночь, не давал бригаде покоя, но сам трудился больше всех. В Индонезии не принято, чтобы десятник что-то делал своими руками. Его обязанность следить за тем, чтобы работала бригада, обеспечить ее всем необходимым. Но хаджи Унус не знал ни минуты покоя; у него были работающие, ловкие руки и острый, пронизательный ум. Он отлично справлялся с любой задачей, однако руководить не мог. и организатора из него не вышло. Его рабочие старались изо всех сил только потому, что нельзя же позволить своему десятнику выбиваться из сил в одиночку.

Через несколько месяцев я спросил Джаина, сколько мы платим Унусу. Спросил потому, что хаджи Унус при мне отказался взять деньги у капитана, которого выручил: нырнул и освободил винт от стального троса после того, как все отступились. Может, Унус богач, ему эти деньги просто были не нужны?

— Он получает, как все десятники, — ответил Джаин. — Один гульден в день.

— Это неправильно, Джаин. Будем платить ему два с половиной гульдена!

— Он заслуживает даже больше, туан. Но что толку ему от прибавки? Все равно он все проигрывает, знаете, какой он игрок?

* * *

Прошел еще месяц. Однажды я задержался на Ментсапе допоздна и решил переночевать в бараке, где жил хаджи Унус.

Мы разговаривали до глубокой ночи.

Он познакомил меня со своей женой. Это была худая долговязая яванка, курчавая, с лошадиным лицом. Она целыми днями играла в карты с другими женщинами. Детей у них не было. Зато было полтора десятка родственников, которых он кормил; несколько старых бабок, остальные — молодежь: юноши и девушки.

Раньше хаджи Унус работал водолазом в нефтяной компании. Настоящим водолазом. У него был водолазный костюм и прочие принадлежности. В день он зарабатывал семь с половиной гульденов — больше любого индонезийца в той же компании. Потом он рассорился с десятником-голландцем и уехал на Нунукан. В Таракане ему довелось строить большие пристани и причалы. Тогда он и научился этому делу. Здесь, на Нунукане, он ныряет без скафандра. Ничего, молено и так работать.

Можно и так? Я сомневаюсь в этом: Унус сильно кашлял, один раз он выплюнул сгусток крови.

— Ты поосторожней, хаджи! С больной грудью нельзя нырять. Да тебе вообще нельзя выполнять тяжелую работу, ты же харкаешь кровью!

— Подумаешь, у меня это уже второй год, туан. И все потому, что я долго на большой глубине работал.

— А ты не напрягайся так, не изматывай себя, хаджи. Пусть кули работают в полную силу!

— Хорошо, туан, я так и сделаю.

Но, конечно, все оставалось по-прежнему. Хаджи Унус наравне со всеми вязал плоты на реке, таскал кряжи из джунглей, конопатил баржи, строил пристани. Он даже проложил одноколейную железную дорогу на Ментсапе. В то же время хаджи Унус не пропускал ни одного случая поиграть в кости или в карты. Вместе с женой он был способен просиживать ночи напролет, не сводя глаз с кувыркающегося шестигранника или шелестящих карт. Кофе и то выпить было некогда. А утром он с воспаленными от бессонницы глазами шел на работу и горячо принимался за дело.

Хаджи Унус никогда ни цента *ire* брал взаймы, и никогда у него не было денег. Он никому не отказывал в помощи, если мог хоть что-нибудь уделить. Его двери были открыты для всех, и пока в доме была хоть горсть риса, любой мог прийти и сесть за стол. Самому хаджи Унусу, видно, некогда было есть — он худел день ото дня.

Болезнь изнуряла его сильное тело, на котором уже не было и намека на жир, остались только мускулы и жилы, словно желваки и струны под смуглой кожей.

— Береги себя, хаджи! — повторял я. — Возьми отпуск, отдохни недели две. Мы тебе оплатим!

Он взял отпуск и через две недели вернулся на работу еще более осунувшимся: день и ночь играл в карты.

— Отпуск — это не для меня, туан. Я не выдержал бы еще одной недели, — сказал хаджи Унус.

Это была чистая правда. Но и такую жизнь тоже нельзя было выдержать. Хаджи Унус сам загонял себя в могилу.

Я решил платить ему пять гульденов в день, может быть, немного уймется! Хаджи Унус стал работать

напряженнее, чем когда-либо. Джаин всячески старался удерживать его, но это было просто невозможно.

Кончилось тем, что хаджи Унус свалился, и мы отвезли его в больницу.

— Ничего нельзя сделать, — сказал доктор. — Скоротечная чахотка.

Хаджи Унус пролежал два дня. Он кашлял, хрипел, но как будто немного окреп. А в день получки убежал из больницы и отправился в игорный притон.

Ночь, день и еще ночь он играл. На второй день уже опять нырял и вязал плоты. Без него работа не ладилась, и он решил наверстать упущенное.

Через несколько дней хаджи Унус погиб: нырнул с ротанговым канатом под огромный кряж — и не вынырнул. Товарищи вытащили на берег мертвое тело.

Многие искренне горевали; у этого человека не было ни одного врага.

— Он все отдавал людям и себя не жалел, — сказал Джаин. — А вот душу отдал Сатане. Да будет Аллах милостив к нему!

Игра — тяжелейший грех для мусульманина.

* * *

Я очень хорошо помню Айшу. Она была яванка. Ее насильно привезли на каучуковую плантацию в Британском Северном Борнео. Вербовщики обманули Айшу и нескольких со подруг. Они предложили им поехать на три-четыре месяца в Сурабаю поработать там на фабрике, а вместо этого женщины попали в Тавао. Такие случаи бывают в Индонезии.

Айша только что вышла замуж. Муж разрешил ей поехать на заработки, чтобы поддержать их более чем

скромное хозяйство. Она надеялась вернуться скоро, еще до начала уборки риса.

Очувтившись на пароходе, Айша едва не сошла с ума от страха и отчаяния. К тому же в пути ее несколько раз изнасиловали.

Проработав два месяца на плантации, она познакомилась в Тавао с одним яванцем с Нунукана. Он взял ее с собой к нам на остров.

Они жили как муж и жена, но, когда яванец захотел продать Айшу товарищам, она ушла от него. Он пригрозил убить ее, если она не вернется. Тогда Айша попросила защиты у меня. Сари оставила ее у нас, и Айша с месяц жила в нашем доме. По вечерам она рассказывала про жизнь в родной деревне, про все невзгоды, какие выпали на ее долю с тех пор, как она покинула свой дом. Теперь Айша хотела накопить денег на обратную дорогу и чтобы еще хватило купить савá — клочок земли, когда она приедет домой к мужу.

Айша была женщина не глупая и к тому же смелая. Она решила стать проституткой, ибо уже убедилась, что выходить замуж здесь, на Нунукане, сплошное безумно. Так никогда не вырвешься отсюда.

Дело совсем не в пристрастии к мужчинам, напротив, я подозреваю, что она презирала нашего брата. Холодное сердце и трезвый ум подсказали Айше ее выбор.

Она была темнокожая и круглощекая; ее молодое тело было наделено животной силой и красотой. Айша хвасталась Сари, что может за один вечер отдаться пяти мужчинам. На первых порах мужчины были от нее без ума и платили ей любую цену. За два-три месяца она набрала золотых брошей чуть ли не на тысячу гульденов.

Вскоре Айша завоевала славу самой честной женщины на Нунукане. Она не пыталась обмануть мужчин, влюбить их в себя и каждому обещала лишь

несколько часов любви. Они могли купить ее тело, но ею никогда не обладали. Себя Айша сохраняла в чистоте для своего мужа на Яве. Что из того, что загрязнялось тело, — его всегда можно отмыть водой.

— Но ведь тебе за такую жизнь грозит вечная кара. Разве ты этого не знаешь? — спросила Сари.

— Знаю. Кара — так кара. Зато, когда я вернусь, моему мужу будет хорошо. Мы купим савá, нам никогда больше не придется голодать.

Маленькая Айша была тверда как камень. И она всем сердцем любила своего мужа, который, верила она, ждет ее с тревогой и волнением.

Конечно, Айша заболела. Я отвез ее в больницу в Таракан.

— С первым же пароходом отправляйся на Яву, — сказал я ей, когда она через месяц вернулась на Нунукан.

— У меня нег ни цента. Сначала надо заработать деньги.

— А где же все твои деньги и украшения?

— В Таракане я отдала их на хранение одному яванцу, а он обманул меня, уехал на Яву.

— Но ведь так нельзя, Айша, сама понимаешь. Заболеешь опять, только и всего.

— Ничего, туан, как-нибудь обойдется.

Опыт еще больше ожесточил Айшу. Но только одна половина ее сердца окаменела, вторая — принадлежала друзьям. Это ее и сгубило.

На Нунукане лучшей подругой Айши была банджарка Ало, жена одного из моих служащих. Любой мужчина на Нунукане мог купить тело Айши, только не муж Ало. Айше не хотелось огорчать подругу, не хотелось, чтобы она ревновала.

Но так уж создан человек: всего упорнее он добивается того, что ему недоступно. Получив отказ от Айши, Джуффри (так звали мужа Ало) буквально

помешался на ней. Он преследовал ее по вечерам, часами стоял у ее дома, угрожал ножом тем, кто приходил к Айше.

Айша испугалась. Она перестала приводить к себе мужчин и снова обратилась за помощью к нам с Сари. Я велел Джуффри оставить Айшу в покое, пригрозил уволить его, если он не подчинится. Он ответил, что рад бы послушаться, да не может управлять собой. Айша околдовала его ворожбой, а против ворожбы человек бессилён. И ведь что хуже всего, жаловался Джуффри, Айша свела его с ума, а сама тут же от него отвернулась.

Ало была женщина с характером. Она не собиралась мириться с поведением Джуффри. Унижаться перед мужчиной, вот еще! И Ало, бросив Джуффри, уехала в Таракан. Айша временно поселилась у нас, помогала Сари по хозяйству.

Джуффри как будто угомонился, когда от него ушла Ало. Он перестал преследовать Айшу и шпионить за ней по ночам. Все же, на всякий случай, Айша, оставив свое ремесло, продолжала жить у нас.

Но вот как-то вечером Сари показывает мне новую брошь — маленькую золотую застёжку. Это ей Айша подарила. Она собирается уезжать и оставила застёжку Сари на память.

— Она ведь говорила, что у нее не осталось брошек, — сказал я.

— Ей дает деньги голландский моторист, ты его знаешь. Она иногда ходит к нему, потихоньку. Вот и накопила на дорогу, со следующим паропходом поедет домой. Не хочет больше здесь оставаться.

— И ты взяла брошку, хотя знаешь, как она заработана?

— Подумаешь, один грех не хуже другого. Все мы грешны, а я, может быть, больше всех. Мне Айша

правится. И нельзя было отказаться — она бы обиделась...

Пароход ожидался назавтра, и Айша уже сложила свои пожитки в маленький жестяной сундучок. Она предвкушала возвращение на Яву. Джуффри не давал ей покоя, все требовал, чтобы она осталась с ним. Он даже обещал жениться на ней, рассказывала Айша.

— И голландец тоже уговаривает меня остаться, — сказала она Сари. — Сулил пятьдесят гульденов в месяц, если я стану его экономкой.

— Лучше поезжай домой, — посоветовала Сари.

— Если я останусь и буду всем продаваться, я заработаю куда больше пятидесяти гульденов в месяц. Но ведь это опасно, я уже убедилась. Народ здесь, на Нунукане, какой-то одержимый!

Вечером Айша пошла в деревню попрощаться с друзьями. На обратном пути она должна была пройти мимо дома Джуффри. Он подждал ее и, когда она поравнялась с домом, выскочил и вонзил ей нож в спину.

Айша отправилась к мантри Джаину.

— Помоги мне, мантри, — сказала она. — К туану я не пойду, неловко его беспокоить. Разреши здесь прилечь. Я скоро умру.

Джаин увидел кровь на ее одежде и побежал в полицию. Там он встретил Джуффри. Тот уже пришел и все рассказал. Джуффри успокоился, бесы оставили его, как только он зарезал Айшу. Наконец-то у него отлегло от сердца.

Айша умерла к вечеру следующего дня. Мы ничем не могли ей помочь: нож задел легкое, и она медленно истекала кровью.

Я ожидал, что Айша будет плакать, причитать, — ведь ей больше не суждено было увидеть ни ее прекрасной Явы, ни мужа, о котором она всегда столько говорила. Но она ни словом о них не помянула.

Айша была спокойной и выдержанной до самого конца. Сдалась она лишь после того, как потеряла последнюю каплю крови.

Уже перед самым концом она попросила Джаина взять ее деньги, чтобы устроить похороны, и прочесть ей главу из Корана, которую читают умирающим. Как только Джаин закончил чтение, она умерла.

Айша была удивительным человеком. Она взяла верх над своей судьбой; даже смерть не могла по-настоящему победить ее. И все, должно быть, почувствовали это, потому что никто не горевал по ней. Ни одной слезы не было пролито над ее могилой. Да и как мы могли горевать по Айше? Это значило бы оскорбить ее. Я редко встречал людей, которые так хорошо отдавали бы себе отчет в своих поступках, как Айша.

Пряжку, полученную от Айши, Сари хранила вместе с белыми собачками, подаренными ей Рольфом Бломбергом. Этими безделушками она дорожила больше всего на свете. Не ради их собственной цены, а ради людей, о которых они напоминали.

* * *

Жил у нас на Нунукане и скоморох. Он был искрасив до ужаса и напоминал маленькую обезьянку. Один бог ведает, сколько рас в нем смешалось. Зато мне редко приходилось видеть такого поразительного артиста. Он постоянно играл какую-нибудь роль — и на работе и даже во сне, а выступая на подмостках, он исполнял по три-четыре роли одновременно. Он отлично обходился без партнеров, мобилизуя собственное юркое тощее тело.

Звали его Рахман. Свою деятельность на Нунукане он начал приемщиком. Когда я в первый раз увидел его на Себатике, он показался мне просто-таки мастером. Рахман прыгал по кряжам, осматривал их, проверял, браковал и притом командовал людьми так, словно всю жизнь только этим и занимался.

Ему поручили три участка.

Но когда лес с этих участков стал поступать к нам, контрольные замеры настолько разошлись с цифрами в сопроводительных документах, что Джаин даже растерялся.

Мы отправились на Себатик проверить, в чем дело, и на первом же участке застали Рахмана. Он замерял бревна и не заметил нашего появления. Мы молча подошли и стали наблюдать за ним. Он скакал, словно кузнечик, жестикулировал, размахивал меркой, выкрикивал учетчику диаметр и длину, но ни разу по-настоящему не замерил бревна.

Вдруг он умолк, вытер пот с лица, поправил умопомрачительный галстук и принял совсем другую, деревянную позу. Теперь он говорил чуть высокомерно, скупо цедил слова — вылитый Джаин. Поколдовав для вида над бревнами, он стал произносить назидательную речь, бесподобно копируя Джаина, но тут заметил напряжение на лицах рубщиков, которые приветствовали меня и Джаина, обернулся и увидел нас.

Однако Рахман не растерялся; у нас на глазах произошло новое перевоплощение. Теперь он изображал покорного, исполнительного работягу.

— Я изо всех сил стараюсь, мантри сам видит! Пытаюсь хоть что-то вдолбить в головы этих бедняг, надо же приучить их к порядку. Не покладая рук работаю, мантри, день и ночь! Все силы отдаю службе! Я...

— Давай-ка лучше проверим замеры, — прерываю я его излишняя.

Рахман горячо берется за дело. Торопит рабочих, извлекает откуда-то измерительную ленту, которой раньше не было видно. Замеряем втроем. Рахман кричит, перебранивается с учетчиком — тот не успевает записывать сразу за троими.

И оказывается, что Рахман не сделал ни одного правильного замера.

Джаин отчитывает его, только пух и перья летят. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь мог отругать человека так, как Джаин.

Рахман играет роль кающегося и униженного. Непонятого. Он так старался работать быстро, так спешил управиться, что, возможно, кое-что и впрямь сделано не с такой точностью, какой, по-видимому, добивается мантри Джаин. Он от зари до зари наставляет рубщиков, как надо работать, как жить и вести себя. А ведь это не менее важно, чем замерять бревна...

Джаин отвечает Рахману таким взглядом, что удивительно, как тот остается невредимым.

Я с великим трудом удерживаюсь от смеха. Пытаюсь понять: что, собственно, думает и чувствует маленький Рахман? Тщетно. Его подлинное «я» скрыто очередной ролью. Зато Джаин искренне выражает свои чувства, его бурная, неистовая ярость неподдельна. Он тоже видит, что Рахман вместо того, чтобы показать свое подлинное «я», морочит нам голову и раздражается еще больше.

Наконец я говорю:

— Рахман поедет с нами на Нунокан. Будет работать учетчиком на лесопильне. Может быть, это у него получится.

Но на лесопильне дело пошло не лучше. Рахман должен был замерять лес на сортировке и записывать

итог. Он очень прилежно писал и... продолжал непрерывно играть. Стоило начальнику отвернуться, как Рахман тут же принимался копировать его: расхаживал кругом с важной миной и покрикивал на рабочих.

Через три дня начальник выгнал его.

Рахман пришел ко мне жаловаться. В образе смиренного и непонятого. Он всецело полагался на меня, только я мог оценить его редкие способности и талант.

Он сыграл безупречно, и я поставил его сортировать бревна на лесоскладе. Там работала бригада бугов, тридцать человек, и Рахман с утра до вечера развлекал их. Изображал Джаина, меня и всех нунуканских голландцев по очереди. От одной роли к другой переходил молниеносно: вот я отчитываю Джаина, а вот уже тот кротко оправдывается.

На лесоскладе царило такое веселье, что пришлось забрать оттуда Рахмана.

— Возвращайся в Таракан, — сказал я ему. — Здесь не те условия. У нас нет достойной тебя работы!

В тот вечер Рахман впервые со дня приезда на Нунукан стал самим собой. Он напился и рыдал, лежа ничком на нарах в бараке. Покровы упали, и обнажилась несчастная душа шута. Рахман оплакивал свою горькую судьбу скомороха.

Я навестил его. Таким он мне нравился больше, чем в любой из своих ролей. Наконец-то он был просто человеком.

Тогда впервые я увидел пьяного индонезийца. Ведь они мусульмане, а правоверным запрещается нить вино. Как правило, этот запрет строго соблюдается.

Рахман не уехал в Таракан. С моего молчаливого согласия он остался и устроил настоящий театр. Отобрал среди рабочих человек десять-пятнадцать, поработал с ними несколько вечеров и дал

представление. Успех был огромный. Главным образом благодаря мастерству самого Рахмана.

Я велел соорудить для них большой сарай со сценой. Рахман был неофициально назначен «министром» развлечений на Нунукане, ему поручили продолжать обучение труппы и подготовку спектаклей.

Я искренне восхищался артистами-лесорубами. Они играли естественно, входили в свои роли, как и подобает настоящим актерам. Больше всего любили играть сановников, раджей, министров, шаманов. Короткое время они жили жизнью, о которой, возможно, мечтали, выбиваясь из сил на тяжелой работе в жарких джунглях.

Зрители воодушевлялись не меньше артистов. Было видно, что всем существом они на сцене, далеко-далеко от многотрудной действительности, которая выпала на их долю по моей милости.

Конечно, Рахман всех затмевал. Одна роль его не устраивала, он должен был непременно в каждом спектакле играть по меньшей мере две-три, молниеносно превращаясь из раджи в раба, из моралиста-отца в бездельника-сына. Колдун, да и только! Я никогда не видел ничего подобного.

И он совершенно покорял зрителей, владел их вниманием так же уверенно, как своими ролями.

Потом Рахман подобрал несколько миловидных девушек, которые пели под гитару, и акробатов, которые могли жонглировать мечами, плясать на канате и выделывать трюки, балансируя на велосипеде. С этой труппой он раз в неделю давал большое эстрадное представление. Билет стоил один гульден для людей обеспеченных и пятьдесят центов для зрителей победнее. Сборы были неплохими. В свободные от спектаклей дни акробаты работали приемщиками и учетчиками леса.

Однако и в новом качестве Рахман пребывал недолго. Касса театра хранилась у него, и вышло так, что он сыграл неприглядную роль растратчика. Естественно, в труппе начались раздоры. Рахман еще раз стал самим собой — напился и рыдал.

Когда он оправился от удара, труппа уже распалась и акробаты исчезли.

Рахман снова убедил меня дать ему роль приемщика. И — о чудо! — он играл настолько хорошо, что ему удавались даже такие тонкости, как правильный замер бревен. Он преуспевал почти целый месяц.

Потом ему взбрело на ум выступить в роли санитаря. Он получил место в нашей больнице, но я предупредил врача, чтобы тот строго следил за этим деятелем.

Рахман играл на редкость заботливого и работающего санитаря. Доктор был очень доволен таким многообещающим началом и доверял увлеченному артисту все более сложные дела.

Несколько недель не было никаких происшествий. Потом Рахман решил, что созрел для более ответственной работы, и в отсутствие врача стал играть его роль. Правда, он играл не своего шефа; Рахман иначе представлял себе идеал врача. Врач Рахмана был персоной важной, немногословной, в черном шелковом халате поверх белого медицинского, чуть сутулился, ходил короткими шажками, не сгибая колени. Вдруг останавливался и делал руками какие-то жесты, глядя поверх очков с толстыми стеклами. К больным он обращался спокойно, покровительственно, с санитарями разговаривал нетерпеливо и назидательно.

Пощупав пульс больному, у которого была сломана нога, он решил, что у него малярия, и прописал инъекцию хинина. Другому больному зашил рану, не продезинфицировав. А затем принялся всем без разбора

делать вливания сальварсана. Доктор застал его, когда он занес шприц над больным дизентерией.

На этом, понятно, гастролы Рахмана в больнице кончились. Доктор вполне справедливо отчитал меня за то, что я допустил туда этого помешанного, который способен всех пациентов погубить. Я оправдывался, как мог, — дескать, мне в голову не приходило, что он отважится играть столь опасную роль.

Еще на неделю Рахман стал самим собой. Лежал на нарах, пил, рыдал. Потом собрал оставшихся членов старой труппы и опять начал готовить представления.

* * *

Я много раз пытался добиться от Рахмана хоть одного разумного слова. Безрезультатно. Правда, он говорил порой вполне рассудительно, но это были слова из какой-нибудь роли. Когда же Рахман не играл, он был слишком пьян, чтобы произнести что-либо членораздельное. И я никак не мог разобраться, есть ли хоть что-нибудь от подлинного Рахмана в этом человеке, который то плачет, то смеется...

Так или иначе, Рахман был деятелем культуры. Пионером Талии на Нунукане.

Средство от несчастной любви

На рейде стоит голландский пароход. Идет погрузка. Три тысячи кубометров нужно чтобы удовлетворить его. Мы работаем уже трое суток. Все устали, все злятся и ждут, когда он наконец насытится и уйдет.

Но для этого надо работать еще не меньше двух дней. Двое суток предстоит мне возиться с этим пароходом: ведь если я не буду стоять над душой у рабочих, все пойдет кое-как. И не исключены несчастные случаи; нет уж, лучше быть на месте.

Каждую ночь я должен выпивать с капитаном. Отказаться нельзя, он мой старый знакомый. Да пью-то я немного, больше смотрю, как он пьет, и слушаю его рассказы о любовных похождениях. Если верить его словам, у него их было очень много. Гурман... Женатый человек даже представить себе не может ничего подобного. Каждая его встреча с женщиной — это продуманное до мельчайших подробностей произведение искусства. Его дар проявляется в области, куда более высокой и утонченной, чем живопись или ваяние, — он делает живые картины, подлинные шедевры. Правда, не всему человечеству на радость и поучение, а для себя одного. Но ведь искусство тогда и становится подлинным, созидающим, когда человек творит лишь для себя согласно лозунгу «искусство для искусства»...

Женщины его понимают. Они без ума от него. Они упиваются ролью глины, из которой он лепит свои шедевры. Добавим в скобках, что он еще и редкий знаток вин; это нужно ему для творчества. Он знает все сорта вин и женщин всех возрастов и племен.

В каком-то смысле его искусство получает и видимое воплощение. Чтобы отчетливо помнить каждое произведение, чтобы было что показать, когда он знакомит других со своим творчеством, капитан всегда оставляет себе что-нибудь на память. В его каюте стоит полный сундук сувениров. И чуть ли не ежедневно я должен осматривать это собрание. Здесь бюстгальтеры, перчатки, сумки, туфли, сандалии, губная помада, кольца, фотографии, трусики, мундштуки, пудреницы, меню, чулки, локоны и прочие предметы, либо принадлежавшие женщинам, либо побывавшие у них в руках. Какой бы предмет он ни извлек из хранилища с гордой самодовольной улыбкой, экспонат непременно сопровождается длинной историей. Большинство их я уже слышал многократно, причем ни разу не смог поймать его на противоречии. Либо он и в самом деле говорил правду, либо очень здорово выучил свои истории.

Капитан от души сочувствует мне, лишенному всех благ цивилизации и культуры, живущему в джунглях, вдали от увеселений и женщин, в обществе одной лишь темнокожей экономки...

Я поддакиваю ему. Жалко, что ли, пусть наслаждается, сравнивая мое беспросветное существование со своей насыщенной, блестящей жизнью.

Кстати, пока он находится здесь, на Нунукане, мне и впрямь приходится не сладко. И не только потому, что много работы.

Сари безумно злит, что я день и ночь торчу на пароходе.

— Хоть бы раз взял меня с собой!

— Там нет ничего интересного. То сижу и болтаю с капитаном, то работаю в трюме.

— А на «Сингкару» ты меня брал! Ее капитан считал, что я в самом деле твоя жена, обращался со мной, как с

дамой!

— Что же я могу поделывать, если этот капитан не догадывается пригласить тебя?

— При чем тут капитан! Это ты стыдишься показать меня. Не хочешь ему признаться, что живешь со мной. Тебе стыдно, что я цветная.

— Не говори глупостей, Сари! Ты отлично знаешь, я ничуть не стыжусь. Но ведь мы женаты не по-настоящему, а многие придают этому значение...

— Все это разговоры. Но верю я тебе!

— Не шуми, Сари. Ложись-ка лучше спать. Я постараюсь вернуться до двенадцати.

Когда я пришел домой, чтобы вздремнуть часик-другой, был уже третий час. Сари не спала, лежала заплаканная.

Никто из нас не сказал ни слова.

Наконец пароход ушел. В четыре утра. Увез капитана, его сундук с сувенирами и три тысячи кубометров.

Когда я вернулся с пристани, Сари встретила меня словами:

— Я уеду на Яву со следующим пароходом.

— Потом поговорим об этом. Сейчас я хочу спать.

— Тебе безразлично, что я уезжаю?

— Я же несколько раз говорил тебе: съезди на Яву, если хочешь. На месяц. Потом возвращайся сюда.

Сари молча прячет лицо в подушку. Засыпая, я чувствую, как на мою ладонь ложится ее маленькая горячая рука.

Мы много раз говорили с Сари, что ей надо съездить на Яву, проведать родителей. Погостит там месяц-два, потом вернется. Уже назначали день отъезда, но всякий раз дело срывалось. Она сама подстраивала так, что возникало какое-нибудь препятствие. Чего она, собственно, хочет? И почему снова заговорила об этом сию минуту? Может быть, вздумала уехать насовсем,

считает, что я унижаю ее... Тогда ничего не поделаешь. Конечно жаль, если она не вернется. Скверно мне будет без нее, особенно первое время. Лунные ночи, проведенные вместе, охота, походы в джунгли и прогулки на море, вечера здесь, в домике на пригорке, — многое будет вспоминаться, не скоро пройдет тоска. Возможно, мы не подходим друг для друга. Все равно же это не на всю жизнь. Эх, не будь я так связан с другими белыми и их проклятой цивилизацией! С их обществом, где столько предрассудков и тупости. Как хорошо все было бы тогда! Мы бы зажили с ней как люди. Или?.. Или я начал бы тосковать по этому обществу? И в конце концов не смог бы больше выносить ни Сари, ни свободной жизни в джунглях? Говорят, дикий зверь, который всю жизнь провел в клетке, скучает по ней, если выпустить его на волю.

Что за нерешительность, черт возьми! Сам не знаю, чего хочу. В самом деле, не могу разобраться. Ему, видите ли, нужно все испытать и проверить, прежде чем решить... Нет, устал, не могу думать связно. Чем сильнее я устаю, тем дальше ухожу от Сари. Пусть едет хоть завтра, если ей так хочется. Надо же когда-то кончать. Я сейчас просто не в состоянии ничего больше придумать.

Сари начала укладывать вещи и шить кое-что на дорогу. Сказала, что поедет через неделю.

Это были беспокойные дни. Каждый день Сари спрашивала меня, ехать ей или нет. Каждый день я отвечал, что надо съездить, хотя мне все меньше хотелось отпускать ее. Как бы еще оттянуть неизбежную разлуку?.. Я очень ярко представлял себе боль одиночества, постоянно думал о том, как много значила для меня Сари, как я обижал ее, сколько незабываемых дней и ночей провели мы вместе. Но ведь я обещал отпустить ее. Обещание надо выполнять.

Сари становилась все более мрачной и молчаливой. Со мной почти не разговаривала. Зато с небывалым прилежанием вела наше хозяйство. Словно хотела подчеркнуть свою заботу обо мне, чтобы я острее ощутил ее отсутствие.

Завтра ее увезет пароход. Еще одну ночь мы проведем вместе. Возможно, последнюю. Почему-то мне кажется, что Сари уже не вернется, что она решила навсегда расстаться со мной. У нее больше нет сил выносить эту двусмысленную жизнь с белым безбожником.

Мы не можем уснуть. Сари потихоньку плачет. Плач переходит в безудержное рыдание.

Я лежу молча. Когда же она кончит? И я не выдерживаю:

— В чем дело, Сари? Разве ты не рада, что поедешь завтра?

Молчание.

— Ну скажи же, что случилось, Сари? Я тебя обидел чем-нибудь? Ты из-за меня плачешь?

Продолжает плакать. Наконец говорит сквозь слезы:

— Нет-нет, я не сержусь на тебя. Это ты на меня сердисься. Совсем по хочешь меня знать. Ты меня не любишь.

— Что за ерунда, Сари! Ведь ты отлично знаешь, я тебя люблю. Сколько раз я говорил тебе об этом!

— Неправду говорил! Если б ты меня любил, разве ты прогнал бы меня?!

— Я тебя прогоняю? Да ты сама ко мне каждый день приставала, чтобы я отпустил тебя на Яву навестить родителей. Ведь ты вернешься! Или уже передумала?

— Ладно, не заговаривай мне зубы! Будто не знаю, что ты думаешь на самом деле. Тебе на меня наплевать! Вот. И мне на тебя тоже! Наплевать, понятно? Все равно я тебе изменяла! Слышишь! Много раз! А завтра уеду! Слышишь! Уеду!

Я поражен. Оступело смотрю на Сари. Никогда не видел ее такой разъяренной. Что за бес вселился в нее?

— Вот видишь, тебе даже все равно, что я тебе изменяла! Ты ничего не говоришь! Не бьешь меня! Тебе на меня наплевать!

Она снова падает на подушку и рыдает.

Выждав некоторое время, я говорю:

— Хватит, Сари, успокойся! Ну что ты затеяла? Я тебя совсем не понимаю. Может, ты мне все-таки объяснишь, в чем дело? Вместе как-нибудь разберемся. А то ты только шумишь и кричишь. Что случилось?

Но Сари продолжает обливаться слезами. Наконец мало-помалу успокаивается и выкладывает, что у нее на сердце. Говорит ровно, безучастно. Словно она вдруг решила примириться со своей судьбой и теперь трезво смотрит на вещи.

— Ну, хорошо. Будь что будет. Я все сделала, чтобы привязать тебя к себе. И ничего не вышло. Я не понимаю тебя. Не понимаю, почему влюбилась в тебя. А может, это ты заставил меня влюбиться? Но тогда — почему ты теперь отказываешься от меня? Я говорю: хочешь уехать. Ты отвечаешь: пожалуйста, поезжай, когда хочешь! Я говорю, что изменяла тебе. А тебе хоть бы что. Молчишь, будто мы никогда не знали друг друга. Да ладно, все равно! Теперь уже конец. Завтра я уезжаю...

— Но, Сари, Сари! Нельзя быть такой глупой. Я отпускаю тебя вовсе не потому, что не люблю. И не потому, что ты мне больше не нужна. Мне куда тяжелее расставаться с тобой, чем тебе со мной! Ты уедешь, тебе будет весело на пароходе. Попадешь на Яву, увидишь родных. А я останусь совсем один, некому будет подумать обо мне, пожалеть меня!

— А, все это разговоры...

— Молчи! Если бы я хоть на минуту поверил, что ты мне изменяешь, я бы перерезал тебе глотку! Ясно? Или

своими руками свернул бы тебе шею. Если я тебя задушу, тогда ты согласишься, что я люблю тебя?

Я стискиваю ее шею так, что она вскрикивает.

— Сари, я тебя потому и отпускаю, что люблю. Хочу, чтобы ты повидала родителей, ведь ты сама говоришь, что соскучилась. Если бы я тебя не любил, давно бы выгнал. Да ты ведь знаешь это. Мне кажется, ты все нарочно устраиваешь, хочешь лишний раз услышать то, что и так отлично знаешь. А теперь я тебя задушу — в наказание за все и чтобы ты знала, как я тебя люблю! Ну что, приятно?

— Пусти, пусти! Я верю тебе! Теперь верю!

Но мне еще долго придется убеждать Сари, что я отпускаю ее вовсе не потому, что безразличен к ней. Наконец она как будто в самом деле начинает верить.

Я убеждаю не только ее, но и самого себя. Убеждаю себя, что по-настоящему люблю Сари и не вижу ничего постыдного в том, что она «цветная». Что Сари для меня не игрушка, не минутная прихоть. Пытаюсь также убедить себя, что я не такой уж подлец.

Но легче убедить Сари, чем собственную совесть...

— Значит, мне незачем уезжать завтра!

— Конечно, если ты не хочешь. Надеюсь, ты поняла: я мечтаю о том, чтобы ты осталась!

— И я больше всего хочу остаться, если я нужна тебе!

— Много шума из ничего, Сари!

— А! Здесь я никак не могу понять тебя, как следует. Слишком много помех. Стоит появиться людям твоего племени, и все летит кувырком. Мы сразу перестаем понимать друг друга, ты тут же меняешься. Только в джунглях ты бываешь самим собой. Внять бы нам да зажить по-новому! Давай поселимся в другом месте. Поедем на Яву!

— Посмотрим, Сари! Через год кончится мой контракт с компанией. Тогда и решим.

Засыпая, я вдруг слышу смех Сари.

— Чему ты смеешься?

— Так, вспоминаю...

— Расскажи!

— Спать надо.

— Нет, расскажи!

— Это меня бабушка научила. Научила, что надо делать, когда полюбишь мужчину. Она так говорила: если будет хороший человек и он захочет взять тебя в жены, иди за него. А не захочет или окажется плохим человеком — разлюби. Как же это сделать, спросила я. Способов много, ответила бабушка. Я расскажу тебе один. Мне тогда лет пять или шесть было, понимаешь? Давно уже, а помню все, как сейчас... Когда ты вырастешь, Сари, говорила бабушка, может случиться, что ты встретишь мужчину, который покажется тебе не таким, как другие. Ты не сможешь забыть его лицо. Закроешь глаза — опять его увидишь. Будешь стараться прогнать это лицо, думать о чем-нибудь другом, но чем больше ты будешь стараться, тем сильнее оно будет преследовать тебя. Пойдешь по дороге — все время будешь оглядываться: не идёт ли он за тобой? От каждого шороха будешь вздрагивать, — может, он? И когда ветер начнет трясти дверь, тебе покажется — он стучится. Ночью в листьях в стене зашуршат крысы, а ты подумаешь — он пришел тебя похитить. Да-да, Сари, как почувствуешь ты это, вспомни мои слова, говорила бабушка. И вот теперь все так и вышло, Эрик. Ты свел меня с ума. И я припомнила слова бабушки. Она говорила: если будет с тобой такое, а ему на тебя наплевать, то запомни, Сари, средство, как излечиться. Вот я и вспомнила бабушкин совет, когда мне показалось, что ты меня не любишь. Испытала я ее средство. Да только оно мне ни капельки не помогло!

— Что же она тебе посоветовала? Расскажи!

— Она сказала, чтобы я нашла большой лист келади. Обязательно в четверг вечером. Возьми его и приходи с ним под большое дерево одна, учила меня бабушка. Положи там лист на землю и помочись на него. Это надо делать в сумерки. У тебя получится как бы большое зеленое блюдце с водой. Посмотришь туда, как в зеркало, и почти такое заклинание (Сари забормотала по-арабски). Потом возьми лист и брось через левое плечо. Но только ни за что не оглядывайся! И назавтра у тебя все пройдет. Так меня учила бабушка. А у меня ничего не прошло. Я три раза пробовала. И как посмотрю на отражение, вижу не только себя, но и тебя тоже. Видно, я полюбила еще сильнее, чем думала бабушка. Не справилось с тобой ее колдовство!

Мы смеемся.

— Это наверно потому, что ты белый. Белых никакая ворожба не берет, говорила бабушка. Завтра поедем с тобой на Себатик. Поживем там, построим хижину на берегу. Долго-долго там будем... Нам бы жить вместе в джунглях, и все будет хорошо, — заканчивает сонным голосом Сари.

Слово «джунгли» наполнено для нее особым смыслом. Она подразумевает не только лесные дебри, но и чел вечность того, кто ей дорог.

Редкостная добыча

Ночь небывало сырая, даже для джунглей Борнео. Сеет мелкий дождик, струйка воды бегут по листьям, нас окутал густой туман. В душном воздухе стоят запахи зверей и ароматы джунглей. Резко пахнет дикой свиньей, циветтой, медведем, буйволом. Раз или два ветерок доносил запах оленя, но глаз увидеть нам не удалось.

Нас двое, Легонг и я. Забрались далеко вверх по течению Селемпота, в царство слонов, и вот охотимся ночью с фонарем около старых угольных копей. Их забросили лет пять-шесть назад, и они уже совсем поглощены джунглями. Дома и производственные постройки не видны за плотным покровом зелени. Деревья проросли сквозь крыши, свалили прогнившие стены.

Раньше здесь было много фруктовых деревьев. Джунгли еще не совсем задушили их, и опавшие плоды манят сюда диких свиней, оленей, медведей.

Ступаем по заросшим железнодорожным путям; местами идем по слоновым и буйволовым тропам. Из тьмы и тумана появляются странные кубические предметы. Это останки домов, облепленные ползучей зеленью. А вот копер, такой же обросший, как все остальное. Местами попадаются полянки — зеленый ковер травы и лилии. Деревья не выросли тут потому, что буйволы вытаптывают молодые ростки.

Заброшенные поселки всегда окружены атмосферой таинственного, необычного. В гуще джунглей всего несколько лет назад был город с тысячами жителей: предприятия, больницы, железная дорога, лавки, кинематографы. Зеленый океан джунглей затопил

кипучую жизнь. Люди ушли. Теперь тут обитают лесные звери да души умерших, как думает Легонг.

Сквозь косматый от тумана мрак до нас доносятся странные звуки. Внезапный треск гниющего дерева. В зеленых гротах на месте домов — кашель, хрипенье, крики. Я объясняю, что это обезьяны и свиньи, но Легонг не верит мне: неспроста у него волосы поднимаются дыбом! Но Легонгу хочется мяса, и мы не отступаем.

Проходя развалины больницы, освещаю их фонарем. Вижу буйволоный помет, слышу возмущенные крики обезьян, устроившихся на ночь на уцелевших стропилах.

Больше всего диких свиней. Они выскакивают чуть ли не из-под ног, со всех сторон слышны топот и хрюканье. Запах свиньи настолько силен, что он заглушил запах укывшегося в чаще медведя, и встреча с ним застигла нас врасплох. К счастью, он, сердито ворча, пустился наутек.

Вдруг под купой деревьев джамбу замечаю множество мечущихся красных точек. Легонг тоже увидел их и затаил дыхание от страха. Даже меня заразил своим испугом. Что бы это могло быть? Какое это животное? Да еще с красными глазами... Но тут же я различаю: это дикобразы!

С десятков причудливых зверьков беспорядочно суется, бегают кругом. Мы облегченно смеемся и идем дальше.

Легонг шепотом рассказывает, что на этом самом месте было убито много белых, когда восстали китайцы-углекопы.

С тех пор прошло всего несколько лет. А сейчас кажется, что поселок уже целое столетие спит в объятиях джунглей...

От бормотания Легонга и этой странной атмосферы мне становится не по себе. Может быть, и в самом деле

что-то остается от людей, которые работают, живут, любят и умирают? Может быть, в каком-то виде сохраняется излученная мозгом энергия? И убитые бродят по ночам наперекор всем нашим здоровым мыслям — здоровым днем, при свете солнца... Легонг ни капли не сомневается в этом и все-таки отваживается ходить здесь. Вот оно, настоящее мужество! Правда, он жмет ко мне, поближе к моему фонарю.

В доме, к которому мы подошли, слышатся медленные тяжелые шаги. Вдруг и на меня находит нелепый страх. Разве у животных бывает такая поступь?! Набираюсь храбрости, навожу фонарь, но внезапно ощущаю запах пантеры. Острый запах, в нем невозможно ошибиться, и он с быстротой солнечного луча прогоняет все призраки.

Я первый уловил его, но вот и Легонг обнаружил зверя: я вижу это по тому, как он перехватил копье. Светим туда, сюда, ищем дорогу или тропу, но видим только дом с призраками и густые, почти непролазные заросли. Надо уходить. Пантера может подкрасться на несколько метров и прыгнуть на нас раньше, чем мы ее заметим. Пока не поздно, нужно найти открытое место.

Так, есть что-то вроде звериной тропы. Пригнувшись, шагаем по ней. Дуновение ветерка гладит лицо, приносит все более явственный запах пантеры. Похоже, мы идем прямо на нее. Шаг за шагом... Всматриваюсь, где же они — громадные зеленые глаза? Скорее бы увидеть их, узнать, где зверь. Может быть, пантера рядом, в густых зарослях?

Вдруг к запаху пантеры примешивается запах оленя. Теперь, если сверкнут глаза, я не буду даже знать — олень это или пантера!

Чу! Что-то мелькнуло! Прямо перед нами. Яркий зеленый огонек — звериный глаз. Довольно высоко над землей. Пожалуй, олень. Хотя вообще-то глаза пантеры

и оленя отливают почти одним цветом и равны по величине.

Дальше... Медленно идем дальше. Ружье наготове. Палец на курке. Копье Легонга а качается рядом с дулом моего ружья. Он дышит мне в затылок — часто, взволнованно дышит.

Крадемся вперед. Олень или пантера? Снова и снова включаю фонарь. Если глаз был олений, пантера должна быть где-то в другой стороне. Где?..

Сильный, резкий запах пантеры. Сильнее, чем запах оленя. Чей же глаз?

Острие копья Легонга неотступно следует за лучом фонаря. При виде широкого острого наконечника как-то спокойнее на душе. Копье — лучше ружья, когда надо встретить пантеру в прыжке. И оно в надежных руках. Тонкое древко — из тяжелого железного дерева. Выдержит ли оно вес пантеры?

Но видно глаз впереди. Не слышно шагов уходящего зверя. Осторожно идем дальше, нельзя стоять на месте. Мы должны отыскать глаза пантеры прежде, чем она прыгнет. Наконечник копья. Наконечник копья! Он защитит меня. Если... если...

Вот! Вот опять глаза! Метров десять, не больше. Низко. Над самой землей. Пантера! Конечно, она. Холодно отсвечивают неподвижные зрачки. Стрелять! Стрелять? А если не пантера? Нет, это невыносимо. Нужно убедиться. Нужно стрелять. Промахнуться невозможно: десять метров. Я поднимаю ружье, копьё подастся вперед.

Глаза исчезли!

Что-то шуршит впереди. И дрожат листья. Зверь уходит. Или идет на нас?

К черту осторожность! Я прорываюсь сквозь кусты.

Пантера! Это пантера!

В пяти метрах от нас. Присела для прыжка. Грозная голова втянута в плечи. Хвост беспокойно дергается.

Смотрит прямо на фонарь.

Молниеносно вскидываю ружье. Палец на заднем курке — буду стрелять пулей.

Вдруг пантера поворачивается ко мне боком. Палец перескакивает на передний курок, и я всаживаю ей в бок заряд оленьей картечи. Она валится как подкошенная.

Кошачьих лучше стрелять в сердце, чем в голову. Можно разнести пантере весь череп, и все-таки она успеет сделать не один опасный прыжок, прежде чем упадет замертво.

— Если бы она прыгнула, я принял бы ее на копье, — говорит Легонг.

— Или я — на голову. Смотри, Легонг! Старый зверь, все зубы сточились. Донесешь до лодки, или снимем шкуру здесь?

— Лучше снимем шкуру вместе с головой и лапами, и я понесу ее. К лодке рано идти. Сперва мы должны выследить буйвола, туан.

Он прав. Мы ведь пошли за буйволом. За оленями и дикими свиньями так далеко заходить нет нужды. Да и пантера есть у нас на Нунукане. А вот буйволов там нет.

Легонг снимает шкуру, я помогаю ему. Замечаем диких свиней. Легонг довольно цветисто выражает свое сожаление, что нельзя пристрелить их и захватить с собой. Если мы начнем стрелять по диким свиньям, нам только и будет дела, что таскать свинину к лодке.

Шкура зверя испещрена шрамами, в лапах застряли длинные шипы. Видно, старик побывал не в одной схватке и не очень разбирался, куда ступать.

Дождь усиливается.

— Знаешь, Легонг, надоело мне ходить под дождем. Пошли лучше обратно к лодке, отнесем шкуру.

— Баик, туан ^[22]. Переждем дождь и снова выйдем.

Не сдается. Хочет непременно добыть буйвола сегодня ночью.

Легонг первый плясун среди моих ибанов и первый охотник. Пожалуй, и самый храбрый. На охоте для него нет слишком длинной тропы и слишком тяжелой ноши.

У реки нас ждут Сарп, Асао и старый Дулла. Асао наловил рыбы и крабов. Они развели костер и соорудили из пальмовых листьев навес. Сари сварила кофе, приготовила из улова Асао ужин. Хорошо им тут у огня! Приятно бросить к ногам Сари шкуру пантеры и услышать похвалу. Отважный охотник заслужил восхищение своей жены.

— Я уже приготовил вертел жарить буйволятину, — сообщает Асао. — Думал, вы стреляли по буйволу.

— А я ему говорю — не по буйволу! — вступает Сари. — Выстрел такой глухой был, и я подумала, вы убили циветту. И вдруг — пантера! Большая пантера. Красивый вверх. Самец!

Садимся в круг у костра и ужинаем. Дождь все шумит. Кожа стала дряблой от воды, но нам жарко, от нас поднимается пар. В джунглях трубят слоны, где-то недалеко кричит олень.

— Кричи, кричи, — говорит Асао. — Вот изжарим тебя сегодня!

Я вытягиваюсь под навесом на ложе из веток, и старый Дулла начинает рассказ о той поре, когда здесь жили люди. Все это нам уже известно, и никто не слушает его. Легонг описывает нашу охоту, а также духов и призраков, которых мы видели. Вот когда Дулла берет свое — уж он-то видел и слышал вещи почище! Никому не хочется спать. Дуллу сменяет Асао, потом Сари рассказывает про яванских тигров и про людей, которые умеют превращаться в тигров.

Проходит час за часом. Дождь не унимается. Ничего, мы не в обиде. Он как бы сплачивает нас, пять человек, затерявшихся в дебрях. Нам очень хорошо друг с

другом, нам по душе и лес, и эта дождливая ночь, и все те, кто ее населяет. Жить, наслаждаясь этой минутой, — сейчас нам больше ничего не надо. ‘ Пламя костра, голоса рассказчиков, дружеские улыбки, шелест дождя, звуки и запахи джунглей — все это сливается воедино и рождает острое ощущение счастья. Сари берет меня за руку и, как всегда, когда нам где-нибудь хорошо, говорит:

— Построим себе домик, поселимся здесь...

— Останемся еще на один день, туан, — просит Легонг. — И завтра в ночь пойдем за буйволом.

— Нельзя, — говорю я. Зачем только он напомнил мне о завтрашнем дне?

Мы вышли с Нунукана днем, сюда добрались уже в сумерках. Воскресенье уйдет на обратный путь. В понедельник я должен быть на работе.

— Легонг, ты ведь работаешь на пилораме. Как же ты можешь прогулять в понедельник?

— Мой хозяин — туан, а не пила!

— Останемся тут дня на два, — спрашивает Сари. — Заготовим много-много мяса, чтобы надолго хватило.

— Нельзя! Мы должны вернуться завтра.

— Должны... — тянет Легонг. — Разве туан должен! Туан сам начальник, он сам все решает на Нунукане. Туан может делать, что хочет. А то какой же он начальник.

— Ну знаешь, если бы я делал только то, что мне хочется, я никогда не стал бы начальником на Нунукане.

— Ты ничего не понимаешь, Легонг, — вмешивается Дулла. — Что тебе известно о белых людях? Ты меня спроси! У них не такие обычаи и законы, как у нас, и голова работает по-другому. Когда они думают, приходят в движение колеса и деньги текут.

И вдруг я сознаю, как сильно я связан. Насколько ограничена моя свобода. И как бесконечно мало я

получаю взамен. Уж во всяком случае ничего такого, чем я дорожу. Да, я на Нунукане старший начальник, мне подчинены тысячи людей. Но в то же время я, пожалуй, больше всех ограничен в своих действиях и поступках. На то, чтобы жить и быть счастливым, у меня остается совсем мало времени, меньше, чем у кого-либо.

Сари слезно читает мои мысли. Она говорит:

— Что толку от твоей власти, она не дает тебе счастья. Чем больше у тебя власти над другими, тем меньше ты можешь распоряжаться самим собой. И тем меньше времени у тебя остается для меня.

— Но туан зарабатывает большие деньги, — вставляет Асао.

— Деньги, — фыркает Сари. — Их не возьмешь с собой на тот свет.

— Зато можно хорошо устроиться на этом, — возражает Асао.

— Ерунда, — говорит Сари. — Если все твоё время уходит на то, чтобы зарабатывать деньги, тебе некогда их тратить.

— А есть много людей, для которых иметь деньги, копить их — тоже радость, — замечает старый мудрый Дулла.

— Охота лучше всего! Правда, туан? — обращается ко мне Легонг.

— Правда, Легонг. К тому же это не стоит денег. Наоборот!

— Но если быть большим человеком на Нунукане так невесело, почему туан согласился? Туан, пойдем со мной, охотиться на носорогов! Несколько месяцев поохотимся, еще и деньги заработаем.

Что ответить Легонгу? Должно быть, я и сам не знаю, чего хочу. Но мне ясно, что я не самый счастливый человек на Нунукане. На один только вечер, на одну

ночь мне удалось забыть так называемый долг и побыть свободным охотником-дикарем.

И что за глупую жизнь веду я! Почти все мое время занято работой и мыслями о работе, о пароходах, о людях, о машинах. Сперва, конечно, было интересно. Разве не увлекательно — вступить в Схватку с джунглями! А теперь я раб предприятия. Все идет само собой. Во всяком случае должно идти. Проклятая цифра — пять тысяч кубометров — давно достигнута. Я убедился, сколь обманчива была иллюзия, будто эти пять тысяч дадут нам счастье. Я стал рабом пяти тысяч кубометров леса в месяц. А воображаю иногда, будто покорил джунгли! Святая простота!

Так брось! Брось эту дурацкую погоню за деньгами, славой, благосостоянием, положением в обществе. Погоня за благосостоянием — есть ли на свете более пустое занятие, чем этот бич Запада, особенно Америки.

Да, легко сказать: брось!

А если на самом деле? Решишься? Не побоишься, что люди скажут? Не боишься — вдруг выяснится, что ты просчитался?

Вот именно: я боюсь. И к тому мне невозможно, почти невозможно, раз включившись в эту гонку, бросить ее. Есть только один выход — продолжать, покуда не свалишься. Работать так, чтобы некогда было думать, чтобы забыть обо всем остальном. Работать, работать, работать — заветное слово Запада. Выбивайся из сил на работе, пока тебе не почудится, что это и есть счастье. Работа возвышает человека! Проклятая капиталистическая ложь!..

Так отуземься!

А что, пожалуй, я так и сделаю. Почему не попробовать? Только попробовать, проявив и здесь обычную половинчатость.

Бросить эту работу, стать охотником на носорогов, как предлагает Легонг, или выращивать рис на Яве, как

хочет Сари.

Костер угасает. Сари спит. Асао пошел к лодке, к своему «Пенте», а старый Дулла охраняет нас.

Я не могу уснуть, все размышляю. Вижу счастье, вот оно, совсем близко — на острие охотничьего копья, на спелом колосе риса.

Через полгода с небольшим истекает срок моего контракта. Решиться? Или продолжать по-прежнему?

Когда занимается рассвет, решение принято: я оставлю Нунокан и заживу туземцем, поеду с Сари на Яву.

Посмотрю, что получится.

Это решение было лучшей добычей нашей охоты.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Эрик
ЛЮНДКВИСТ
ЛЮДИ
В
ДЖУНГЛЯХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1967

Eric Lundqvist
Djungeltagen
Stockholm 1953

*Перевод со шведского Л. Л. ЖДАНОВА
Ответственный редактор Н. А. СИМОНИЯ*

1-6-3

206-06

Эрик Лундквист

ЛЮДИ В ДЖУНГЛЯХ

*Утверждено к печати Секцией восточной
литературы РИСО Академии наук СССР*

Редактор *Т. Г. Максимова*. Художник *А. И. Демко*.
Художественный редактор *И. Р. Бескин*. Технический
редактор *Э. Ш. Язловская*. Корректоры *В. С. Иличадзе* и
Л. И. Романова.

Сдано в набор 22/1 1966 г. Подписано к печати 11/X
1966 г. Формат 84×108^{1/32} Печ. л. 6,25 Усл. печ. л. 10,5
Уч. — изд. л. 9,78 Тираж 75 000 экз. Изд. № 1525. Заказ
№ 242. Индекс 1-6-3 206-66. Цена 59 коп.

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука» Москва, Центр. Армянский пер. 2
Владимирская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР Гор.
Владимир, ул. Победы, д. 18-б

notes

Примечания

1

Эрик Люндквист, *Дикари живут на Западе*, М., 1958,
а также очерки, опубликованные в журналах.

К. Маркс, *Будущие результаты британского владычества в Индии*, — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, стр. 230.

З

Нунукан — островок у северо-восточного побережья Калимантана (бывш. Борнео).

4

Буги — народность, проживающая в южной части Сулавеси (Целебес). *Даяки* — собирательное название многочисленных племен, населяющих внутренние районы Калимантана.

5

Туан — господин (индонез.).

6

Минангкабау — автор ошибочно называет «типичными индейцами».

7

Мантри — надсмотрщик, старший (индонез.).

Контролер — один из низших (для европейцев) должностных чинов в колониальном аппарате Индонезии.

9

Дукун — шаман, колдун, занимающийся
врачеванием.

10

Резидент — глава колониальной административной территориальной единицы — «провинции».

11

Мандур — бригадир, надсмотрщик.

12

Туан бесар — большой господин (индонез.).

13

Пока! До свидания! (*англ.*)

Писанг — банан (*индонез.*) // КПМ — «Королевская компания почтового пароходства» — голландская судоходная компания.

КПМ — «Королевская компания почтового пароходства» — голландская судоходная компания.

16

Сулавеси.

Мелати — жасмин.

«*Этичный*» — в смысле «либеральный» от «этического курса», проводившегося голландской колониальной администрацией в интересах монополистического финансового капитала метрополии. Курс этот характеризовался некоторыми незначительными уступками Индонезии.

Рольф Бломберг — автор известной советским читателям книги «В поисках Анаконды» и фильма «Анаконда».

«Черное и белое» *(англ.)*

Пенанг — остров у западного побережья Малаккского полуострова (Малайя).

22

Хорошо, господин (*индонез.*).